

АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВ

ОБЛДРАМА

Александр Кириллов

Облдрама

«Издательские решения»

Кириллов А.

Облдрама / А. Кириллов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-746416-5

Выпускник театрального института приезжает в свой первый театр. Мучительный вопрос: где граница между принципиальностью и компромиссом, жизнью и творчеством встает перед ним. Он заморожен женщинами. Друг попадает в психушку, любимая уходит, он близок к преступлению. Быть свободным — привилегия артиста. Живи моментом, упадет занавес, всё кончится, а сцена, глумясь, подмигивает желтым софитом, вдруг вспыхнув в его сознании, объятая пламенем, доставляя немислимое наслаждение полыхающими кулисами.

ISBN 978-5-44-746416-5

© Кириллов А.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие к 1-му изданию	6
Предисловие ко второму изданию	7
Эпилог	8
Часть первая	17
Глава первая	17
I	17
II	20
III	22
Глава вторая	31
IV	31
V	33
Глава третья	38
VI	38
VII	40
Глава четвертая	47
VIII	47
IX	49
X	53
Глава пятая	57
XI	57
XII	62
Глава шестая	65
XIII	65
XIV	68
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Облдрама

Александр Кириллов

© Александр Кириллов, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Нелегкий и неблагодарный труд провинциального актера, его повседневный быт заслуживают трезвого и объективного освещения. Автор, в прошлом профессиональный актер, стремился воссоздать уникальную атмосферу жизни периферийного театра, рассказать – изнутри – о творческой «голгофе» со всеми её муками и необъяснимым очарованием, куда с наивной беспечностью стремятся юноши и девушки, еще почти дети. Молодой актер Троицкий, всей душой преданный театру, на пути к своему успеху методично пожирается театром как самое лакомое блюдо. Его личная жизнь становится продолжением его творческих метаний, и нет выхода из этого замкнутого круга как только реализовать в тех или других ролях. Он – и Похалюзин, и Треплев, и Трофимов, и Первый стражник, – и вне их – никто! Эта книга – и предостережение, и дань восхищения людьми этой профессии.

Предисловие к 1-му изданию

«Мир – театр, – говорил Шекспир, – все люди актеры». Сегодня нас это коснулось почти буквально. Не знаю, театр ли мир, но, что театр – отражение мира, – несомненно. И, видимо, не зря прокатилась в нашей прессе волна всевозможных материалов о театре – тревожных, полемичных, острых. Сегодня порой бывает обидно слышать, что никто ничего не видел, не понимал, не предпринимал, не боролся. Неправда.

Перед вами, читатель, повесть о театре. Я искренне радуюсь, что она выходит. Лично мне довелось прочесть ее в рукописи несколько лет назад, и уже тогда меня привлекла правда, сказанная в ней.

Существует определенный ореол, ходячее представление о театре как о «храме искусства» и об актерах как о его жрецах. Это – представление, ореол. Но есть жизнь, и в ней давно уже все было по-другому.

Человек, не знающий театра, может, пожалуй, не поверить автору. Неужели в театре могут быть такие порядки, такие отношения, такая профанация святого, казалось бы, дела? Неужели молодые актеры могут месяцами жить в гостинице или на казенной квартире, мало получать, мало играть, зависеть от прихоти режиссера, администрации, а иной раз даже вахтера? Неужели так сильна в театре власть бездарностей, демагогов или актеров, заматеревших в косности, в халтуре, исполняющих любые роли ради хлеба насущного и элементарного благополучия? Да, к сожалению, приходится сказать, что это так. Большинство театров жило именно такой жизнью. Театральное дело давно поставлено на поток, превращено в производство, и производство это гонит, к сожалению, «вал», а не качество, и получает за «вал».

Судьба любого артиста, пришедшего в новый, сложившийся театральный коллектив, оказывается всегда нелегкой. Что же касается артиста молодого, честного, романтического (каковых, к счастью, все же большинство), то его первые шаги в незнакомом театре, как правило, равны шагам семимильным, – но не потому, что молодой артист так резво шагает, а потому, что в каждый шаг укладывается по семи милей невероятных трудностей, переживаний, открытий. Актерская восприимчивость, эмоциональность, восторженность, детскость подвергаются невиданному испытанию. Сам театр, люди, режиссер, актеры, актрисы, первая репетиция, первые знакомства – сколь все это важно, интересно, значительно! И как необыкновенно важно то, как молодого человека примут, оценят, поддержат или останутся к нему равнодушны.

Александр Кириллов – сам профессиональный актер, – рассказывая о судьбе своего героя, не пропускает ни одной мелочи, старается быть подробным и убедительным. Потому что он взялся написать правду. И мне хочется подтвердить: да, это так. Чем больше узнаешь этих людей, их трудную жизнь, их неоднозначность, изменчивость, противоречивость, тем больше веришь, что перед тобой живые характеры.

Разумеется, читая книгу о театре, мы читаем не просто «производственную», чисто профессиональную вещь, но произведение о нашей жизни, о людях, о той самой борьбе, о которой мы говорили.

Эта борьба беспощадна, и она повсюду, она касается всех и каждого – эта книга еще одно тому свидетельство. Пожелаем ей счастливой судьбы в нашем общем деле перехода к новому качеству.

Мих. РОЩИН

Предисловие ко второму изданию

Роман «Облдрама» был частично напечатан в 1986 г. под другим названием в издательстве «Молодая гвардия». Изменилось не только название, изменились смысловые акценты книги. Появились новые герои: Р6ми, одна из них, стала в ряду главных. Многие персонажи, чье появление прежде было мимолетным, получили развитие. Добавлены к тексту книги: эпилог и третья часть. Прежние главы дополнены важными для содержания книги эпизодами, откорректированы, во многих местах переписаны заново.

«Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться, и лишаться. А спокойствие – душевная подлость».

Л.Н.Толстой.

(Из книги Шкловского о Толстом, стр. 240)

Журналист: Актеры, безусловно, с радостью стремятся к общению.

Ингмар Бергман:

Но вы должны понять: они стоят там, на сцене, выставляя себя напоказ – они очень уязвимы. Вы же сидите здесь, вы неуязвимы, вы всегда защищены.

А они – там, их лица, их тела до предела обнажены, выставлены на обозрение.

И необходимо быть крайне осторожным, прислушиваться к ним, заботиться о них, уважать их.

Из интервью Ингмара Бергмана.

Эпилог

Открыв книгу, перелистав первые страницы, так и тянет сразу же заглянуть в конец, и чтобы удовлетворить это естественнейшее желание, начнем книгу с эпилога. Это тем более интересно, что, по общему наблюдению, человек крепок задним умом, и всё ему ясно, когда уже нет пути назад.

Чем исчисляется жизнь артиста? Не календарем, и не юбилейными датами – гастрольями. Он может забыть год рождения, забыть день свадьбы, пол своего ребенка, но спросите, в каком году он был на гастролях в Сызрани, и он, не колеблясь, назовет вам не только год, месяц, но и число дождливых дней.

Для Троицкого отсчет начался с Новой Руссы, а потом были: Саратов, Рязань, Пермь, Алма-Ата, Уфа, Минск, Архангельск, Вильнюс, Рига, Кишинев, Хабаровск, Одесса, Варшава, Киев, Астрахань, Прага, Берлин... и, наконец, Москва.

Места, по которым шел Троицкий, он знал наизусть. В конце кривоколенного переулка показалось здание театра, где вот уже неделю гастролировала питерская труппа, в её составе он проработал последние десять лет. Окрестные районы вызвали в нем сладкое чувство ностальгии. Его институт был всего в двух шагах и ему повсюду мерещились знаки его студенческой жизни. Он напарывался на них, как на острые зубья чугунного забора, пытаясь заглянуть за него, и та жизнь, накрыв его как волной, равнодушно бросала посреди пустынного переулочка дрожать от холода. И не за что ему было уцепиться, нечем удержать мгновения, которые вспыхивали, искрили коротким замыканием, но, чем чаще замыкало, тем сильнее сгущалась вокруг непроглядная темень. Его прежняя непримиримость давно сменилась чувством вины и потери. Виновным он признавал себя и там, где был прав; потерей – казалось ему *время*, необратимо упущенное в прошлом.

Служенье муз не терпит житейской суеты, если, конечно, не использовать эту суету в качестве живительного «планктона» и подобно киту, пропуская вместе с водой через себя, отцедив нужное и пустив фонтаном лишнее, кормить ею свое воображение. «Служенье» – тут, пожалуй, правильное слово. Служение – чувство религиозное. Актеры ходят в театр на службу как верующие. Но как быть, если веры больше нет? Если пришел к тому, с чего начинал?

Когда-то, мальчиком, играя в школьном спектакле, он пережил ужасный стыд... Он, как всегда, произнося чужой текст, изображал чувства, которых не испытывал – и не замечал этого. И вдруг, будто его поймали за руку – он ощутил себя опозоренным, развенчанным, обманутым. Он – паяц, лжец, притворщик, мыльный пузырь на виду у всех и всем на посмешище. Было мучительно стыдно перед тем, кого он играл, стыдно перед зрителем, который был вынужден на это смотреть, стыдно перед самим собой. Театр (как организм) не условность – это одна из форм жизни. Здесь нельзя спекулировать чувствами, жонглировать словами, подлинность есть первое его условие, признак любой жизни. И он поклялся, что никогда, ни за что это не предаст, никогда, чтобы там ни было, не выйдет на сцену марионеткой. Он взял в библиотеке *Станиславского*, он отказался от главных ролей в драмкружке, выбрал крошечную рольку, чтобы сделать её по-настоящему, чтобы вынырнуть в ней живым...

Недавно, после двухсотого спектакля, разгримировавшись перед зеркалом, он снова увидел себя как в первый раз – холод пополз по спине. Не успел он понять, что случилось, как тут же вспомнился тот день, когда он пережил на сцене этот ужасный стыд.

Сколько лет было отдано, сколько усилий потрачено. Собственная жизнь безжалостно перемалывалась им в сыгранных ролях, а он опять «мало-помалу скатывался к рутине»... Театр – прокрустово ложе, в котором никогда нет места тебе подлинному и всегда наготове острейший секач. Нет больше иллюзий, нет куража, нет прежних амбиций, нет сил. Он наказан – как «старуха» у разбитого зеркала.

Москва жалила в сердце памятными местами, жгла и навевала «сон золотой». Он замерз и устал, блуждая московскими переулками, «где он страдал, где он любил, где сердце он похоронил», – бормотал он посинелыми губами. И всё ему казалось, что они идут навстречу друг другу: *тот* Троицкий и нынешний. И, проходя мимо, *нынешний* оглядывается и с любопытством смотрит себе в спину.

Только ранней весной Москва становилась той прежней, которую он любил, особенно вечерами. Мягчел воздух. На всём ощущался налет оттепели, проглядывало что-то домашнее и неспешное в облике домов и прохожих. Ранней весной Москва чем-то напоминала Петербург, где Троицкий обосновался в одном из именитых театров.

Торопясь на вечерний спектакль, Троицкий протискивался в толпе зрителей, медленно заполнявших вестибюль. Его узнавали, просили автограф. Ему повезло, он не остался на обочине, когда театры после известных событий, связанных с «перестройкой», впали в кому. Он продержался, и ему снова стали предлагать роли в кино. Троицкий тщился объять необъятное, всюду поспеть, соглашался там, где хорошо платили, игнорируя только рекламные ролики – из принципа.

Занятый во втором акте, он не торопился. Миновав фойе, он с вождением думал о закулиском буфете, где всегда предложат сочную котлету по-киевски и горячий кофе. Её лицо Троицкий узнал не сразу, вернее, узнал-то он сразу, но спросил себя: кто это? «Инна, – сам себе ответил он в растерянности, поднимаясь в гримёрку. – Инна? Здесь? На спектакле?» Настроение упало, сердце наоборот подскочило. Конечно, это была *она*, но что-то неудержимо повлекло его прочь – не давая опомниться, остановиться и осознать, что это – она. Троицкий так бежал, что совсем забыл о буфете. Бежал не от неё – от себя любимого. «Противно, стыдно», – отмахнулся он от кого-то, кто толкал его в спину, чтоб он не оборачивался. «А разве она не изменилась?» Но тому, кто затолкал Троицкого в гримерку, было всё равно – какая она. Неприятней всего было прочесть в её глазах, – каким стал он?

Троицкий подошел к зеркалу: постарел, погрузнел, начесывал на макушку волосы. Он раздумывал, спрашивая: ему хочется её видеть? Было любопытно, но и страшно, тоскливо. Спектакль, в котором он играл, показался ему старым и провинциальным, будто работал он не в петербургском театре, а в каком-то задрощенском. «Стоило так шуметь когда-то», – подумает Инна, увидев его на сцене.

Троицкий вдруг оттолкнул от себя стул. «Неврастеник, всё у тебя хорошо. Ты успешный, востребованный, обеспеченный артист. Тебя узнают, ты нравишься публике. Тебя продолжают снимать в кино, даже предлагают стать лицом какого-то „Страха“ (Спустившись в фойе, он заглянул в зал, в буфет.), твое фото мелькает на светских тусовках»...

Стройная немолодая женщина расплачивалась у буфетной стойки. Её фигура в зеленом вязаном платье была видна ему со спины. Она присела за стол, с торопливой предосторожностью поставив чашечку с кофе, и взглянула в его сторону. Лицо усталое, волосы крашенные, губы еще красивые, зелёные глаза – их выражение неуловимое: и смотрят они на тебя, и не видят, и погружаешься в них взглядом, и промахиваешься мимо.

Собравшись с духом, Троицкий двинулся к ней, улыбаясь и приглаживая слегка поредшие светло-русые волосы. Инна взволнованно смотрела на него всё теми же опойными глазами, блестящими издали, будто в них стояли слезы.

– Ты меня не узнала?

– Здравствуйте, Сережа.

– А мне показалось – не узнала. Я сильно изменился?

На её скованном улыбкой лице чуть приподнялась бровь.

– Что тогда говорить обо мне?

Она скользнула рукой по туго стянутым волосам, собранным на затылке в пучок, и усмехнулась. Всё в ней было как обычно, но морщинки на лице стали глубже, движения сделались плавными, степенными.

– Я вас поздравляю, Сережа, вы в таком театре работаете. И звание у вас. – И предупреждая его вопрос: – А я так и не получила. Ничего у меня с этим не вышло, но я не тужу.

– Инна...

– Я здесь в командировке. Детей у нас нет. Так что могу себе позволить. Я теперь живу далеко. Нам пришлось уехать из Н-ска, сам понимаешь... Дима боится теперь длительных поездок, так что езжу одна...

Она опять говорила ему «ты», как много лет назад, и это было приятно.

– Я не жалею, что мы уехали. Ни о чем не жалею. Только, когда смотрю хороший спектакль – сердце болит, сыграть в нём хочется.

Она допила кофе и они вернулись в фойе.

– Ну, а ты доволен?

– Вполне. Работы много. Есть интересная.

Усевшись на кушетку, Инна по привычке уперлась в пол каблучком и машинально повертывала носком влево-вправо. Туфли на ней были легкие, с тонкими ремешками. «Еще каблук сломает», – подумал Троицкий, глядя, как Инна ввинчивает его в пол.

– В прошлом году квартиру получил в Питере. Теперь живу по-царски: у самого парка, в тридцати шагах озеро, лебеди... и, главное, метро под боком.

– А у нас в театре медвежонок жил всю зиму, – похвасталась Инна. – Чудо, какой он! Перед спектаклем бродит по гримеркам – хитрец – знает, что у каждого для него обязательно что-то припасено. Люди у нас хорошие, таких нигде нет.

В паузах они улыбались, будто извиняясь за неловкое молчание.

– Олег? – растерялся Троицкий. – Ездил, ставил где-то. Характер у него... сама знаешь, не дипломат. А это не любят.

– Ставил?

– Сейчас мог бы театр свой открыть, были бы деньги. Я его ненавидал одно время... Помню, до полуночи гонял нас с Сашей... кстати, она из Н-ска, ты её по кино знаешь, «звезда»... гонял он нас по сцене навстречу друг другу – всё добивался, чтобы мы на расстоянии, представляешь... «не дотрагивайтесь руками, проходите мимо, – кричал нам, – мне нужно, чтобы здесь в зале мы ощутили тепло ваших рук, которым вы обменялись между собой»... Да, вот так... Всё, что от него осталось, так это тепло от наших репетиций. Сгорел Олег. В Москве ставить не давали, пил, глотал «элениум», запивал портвейном...

– Кого я видела? – Инна пожала плечами. – Как уехала, ни с кем не виделась. Олю Уфимцеву, помнишь, жену *главного*? Ушла она от него, развелась. Вот Оля – человек. А тот: укатил, говорят, куда-то с Пашей... искать единомышленников.

– Захарыч наш в Дании, представляешь?.. Кафедру получил или даже целый институт... А что ты так смотришь? Не веришь?.. Я что-то перепутал? Ну да, ты его, конечно, не знаешь, извини, он из другой оперы.

Дали третий звонок.

– Кажется, мне надо идти, – поднялась Инна.

Троицкий проводил её до зрительного зала, уже ничего не испытывая к этой, будто посторонней ему женщине, точно это была не Ланская.

– Ты, как всегда, конечно, перед театром поесть не успела. Приглашаю на ужин. Здесь, напротив, есть маленькое кафе «Артистическое». Там у меня свои люди. Свободный столик без проблем, идет?

Инна смеялась – открыто, как ребёнок.

– Ты прав, ужасно есть хочу. Если не умру тут голодной смертью, то веди меня в твоё артистическое кафе. Ну, я в зал, а ты куда?

– Посижу с тобой минутку, давно спектакль не видел.

В полутьме, когда открылся занавес, Инна оживилась. Она с благодарностью взглянула на Троицкого, будто тот специально для неё соорудил в центре Москвы театр и преподнес ей в качестве подарка. Тут-то всё и началось. Он смотрел на старый спектакль, отстранено, будто впервые, и ничего не понимал. Все играли бойко, залихватски, с нескрываемой иронией над собой, текстом, спектаклем и даже театром вообще. Импровизация оборачивалась нелепой фразой, когда все чувствуют её нелепость, но уже не могут остановиться, и вынуждены, спасая положение, иронизировать теперь по всякому поводу. «Господи, что я буду делать во втором акте?» Он косил глазом на Инну, но по её лицу нельзя было ничего разобрать. «Да, не думал, что увижу такое, – зашептал он ей на ухо. – Случались, конечно, слабые спектакли, но...» Сам-то он давно уже не бывал в других театрах. Как всё изменилось: спектакли, публика. На сцене изгалялись как только могли, в зале хрумкали попкорном и лениво посмеивались. «А-а, вот в чем дело, – снова припал он к уху Инны, – мы шли на спектакли как члены тайного общества на сходку: выговориться, убедиться, что понимаем друг друга, пережить катарсис общей тайны, смешно, правда? Помнишь, „Альтонского узника“, или „Старшую сестру“, когда она бьет локтем стекла в чужих окнах. Или „Месяц в деревне“, когда в финале молниеносно растаскивались декорации и монтировщик пытался вырвать у *Натальи Петровны* бумажного змея – жалкий реквизит, который она прижимала к груди как последнюю надежду... и чтобы это значило? Или мяч, летящий в финале в зал в „Счастливых днях несчастливого человека“ – спасательный круг, брошенный в море одиночества, и *все* это понимали, помнишь?.. – продолжал лихорадочно нашептывать ей Троицкий, – будто все мы были связаны кровной мезтью и ждали развязки... Зал и сцена – как натянутая тетива».

Инна вдруг обняла его и прикрыла ему ладонью губы. Он почувствовал, как перехватило дыхание, и это было забытое чувство. Он поцеловал её теплую ладонь, со следами запаха её любимых духов: «Я приглашаю тебя к нам завтра на гоголевский „Портрет“. Это... не как сегодня, не пожалеешь. Пойду. Не забудь, что после спектакля я буду ждать тебя здесь в фойе... или нет, лучше на актерском подъезде, в дежурке».

Он вводит её в кафе. Она, конечно, будет стесняться, задержится в дверях. «Идем, идем, – возьмет он её за руку. – Это мой столик. Здесь я обычно ужинаю после спектакля». Низкие лампы освещают только круглую столешницу. «Цветы, волчонок, откуда?» – «Это тебе от меня». Инна придвинет к себе вазу с цветами и уткнется в них лицом. «А так бывает? – спросит. «Немного вина? Здесь можно танцевать». Они танцуют – и эти нежные прикосновения, как наждак, сдирают заскорузлую кожу, ставшую сверхчувствительной. Притихшее кафе затанцованно светится в общей полутьме. «После ужина и ночной Москвы, которую я покажу тебе...» – «Мне надо уезжать». – «... я приглашаю к себе на чай». Опять гостиница, но здесь он хозяин. «Тут не смотрят за гостями, кто прошел, куда, с кем». Инна смолчит, задумчиво глядя в глаза. «Приезжай ко мне в Питер, – шепнет Троицкий, не выпуская из рук её ладонь, – увидишь как я живу. Никакие отговорки не принимаются. Ты приютила меня в Н-ске, теперь моя очередь». Он смотрит на неё, не желая отпускать, и не зная, что делать дальше, как её удержать. Дурацкая мысль – взять её на руки и унести с собой. В памяти воскресла ночь в её комнате, когда она, смеясь, лопотала в дверях чуть слышно «помогите мне» и он стаскивал с неё шубу, сапоги, а она вся мокрая и холодная от снега прижималась к его лицу теплыми губами; как хотелось тогда упасть перед ней на колени, зажать голову у неё между ног; хотелось стоять с нею на Аничковом мосту, на обжигающем ветру; хотелось гулять где-нибудь в Царском селе, когда осень осветляет душу и как вино проникает во все жилки; когда вокруг сухо, чисто и ясно и он знает, что вечером они вернуться к себе; хотелось залезть с нею на дерево и, глядя на закат, кричать от радости, как кричат дети не в силах удержать в себе восторга; хотелось идти вместе

на работу, прощаясь на перекрестке, и долго оглядываться и махать ей рукой, чтобы вечером пересказать друг другу всё о прожитом дне; и потом, уже после ужина, засыпая, сжать её, наконец, в объятиях и твердо знать, что она никогда не скажет ему больше: «не надо, отпусти, мне больно, я не могу быть с тобой», но сама раскроется ему навстречу – ему одному, навсегда...

– А мы и не поговорили, да? – с сожалением шепнула Инна, когда Троицкий поднялся с места, выпустив из ладони её горячие сухие пальцы.

Готовясь к спектаклю, он не мог преодолеть тяжелого чувства, как бы послевкусия по уже случившемуся и непоправимому. Его будто рассекли надвое. Одна половина всё еще смотрела спектакль из зала, растревоженная близостью Инны, но другая – уже была на сцене и страдала от одной мысли: *что* предстоит сейчас вынести на её суд. *Позорно*, конечно, но куда денешься, если ты зависишь не только от постановки, от партнеров, но и от собственных интонаций в спектакле, уже перевалившем за двести. И его самые худшие предчувствия сбылись. Мало того, что на сцене всё шло по наезженной колее, так тут еще молодое дарование распустилось и такое стало нести, приправляя текст грязными шуточками, что Троицкому пришлось буквально вытолкать его за кулисы. «Если ты сейчас же не прекратишь, – шипел он, прижав *дарование* к стенке, – вылетишь из спектакля». – «А мне плевать», – нагло заявило ему юное дарование, – вас самих давно пора в богадельню“. Троицкий расшиб в бешенстве кулак о стену и поплелся доигрывать спектакль. „Ну и поганец, – сжимал он ушибленную руку, – и ничего не поделаешь, теперь его время, черт бы их всех побрал, теперь все мысли у молодых да ранних только о деньгах. Уж очень им хочется поскорее крутую иномарку и стильную квартиру для фотосессии какого-нибудь модного фотографа. А сами? Изобразят что-нибудь бойко, иногда остроумно, и всё кого-то пародируют и не стесняются, пародируют уже и самих пародистов. Главное, напор, наглость и никаких сомнений – с выдумкой, легко и без особых затрат. А спроси – ради чего? Скроют обиженно-удивленную физиономию и пожмут плечами: «А мне плевать».

Странно, думал он, странно. Не помню... не важно мне было... где жил, как одевался, что ел – себя тогда не помню: помню тех, с кем ссорился, спорил, дружил, кого любил, кто казался недоступным, загадочным, кто чужим, кто опасным. И не было мелочей. Всё, что случилось за день, разрасталось до размеров космических. Каждый шаг, каждый поступок – не я, не только я... будто что-то искало случай – через тебя – осуществится...

После спектакля дверь гримерки приоткрылась. «Ты один?» Пухленькая блондинка в ситцевом халатике, проскользнув, повернула в двери ключ. «Я пришла сказать, Петю скрючил радикулит, он не уйдет на ночь играть в преферанс. Мне придется сидеть в номере. Но я скучаю». Она щелкнула выключателем. «У меня есть полчаса. Иди ко мне». Вспрыгнула на диванчик и расстегнула халат. «Ну, иди же, не теряй время. Я скучаю». – «Прости, мне нездоровится». – «Не притворяйся, знаю я тебя». – «Не сегодня». – «Я хочу». – «Отвали, подруга». – «Ах ты, лентяй», – возмутилась она и потянулась рукой к его брюкам. «Да отстань ты, – оттолкнул он её руку. – Всё, хватит! Иди отсюда. Давай, давай», – он схватил её за плечи и, приоткрыв дверь, мягко вытолкнул в коридор. Подождал, послушал и помчался в дежурку. Пролистнул старую книжку – набрал номер кафе, заказал столик. Он был на взводе. Перевернул страничку и наткнулся на телефон Алены. Не долго думая, позвонил – просто так, импульсивно.

– Алёна?

– Да, слушаю.

– Не узнаешь?

– Нет. А кто это?.. (Долгая пауза) Ты?! Что случилось?

Он хотел ей рассказать об Инне, но вспомнил, что для Алёны это не самое приятное воспоминание.

– Да ничего. Вот позвонил... и всё.

– А-а... Ты извини, твой звонок меня вернул от двери – я убегаю...

– Ты, как там устроилась?

– Где? не понимаю...

– Я слышал, тебе звание дали... поздравляю...

– Спасибо, Шнурок... извини, но если у тебя ничего срочного...

– Старею, понимаешь?

– Понимаю... Видела тебя в спектакле. Ты не изменился.

– Изменился... в том-то и дело. Я полысел, а ты, наверное, растолстела. Пончик с копной седых волос?...

– Если не хочешь, чтоб я бросила трубку, оставь этот тон. Мне не двадцать и я тебе не жена, не любовница и даже не подружка. И было это давно. Я просто тебя любила когда-то – и это всё.

– Надеюсь, как своего мужа?

– Не надейся меня этим задеть. Тебе хорошо известно, что я не замужем.

– Слово даю, не знал.

– Твое слово недорого стоит. Не ты ли меня звал замуж?

– Я что, отказался?

– Нет, ты воспользовался мною, чтобы подразнить твою... Не поняла только – неразделенную любовь или влиятельную любовницу.

– Не хотел бы я быть твоим мужем.

– Тебе это не грозит – не по силам и не по карману.

– Ты еще напомни мне, что я однажды подслушивал вас с Юлькой.

– Зачем. Ты сам об этом напомнил.

– Ты?! Ты опять так думаешь или злишь меня?

– Я иначе и не думала. Кто ты мне, чтобы тебя злить.

– Сколько прошло лет, а мы всё собачимся и никак не успокоимся. Может, хватит? Как ты живешь?

– Хорошо. У тебя что? Зачем звонишь?

– Тебя это интересует?.. (Без ответа.)

– И всё-таки, что случилось?

– Это и случилось... где ты? где мы? где?

– А нас – тех – просто нет. Они, Шнурок, умерли. Какое нам дело до чьего-то прошлого. Ладно, мне, действительно, надо уходить. Не звони больше.

Троицкий сморщился и положил трубку: «Что это на нас нашло? С чего мы вдруг сцепились? Фу, как будто это было вчера. Но я же её совсем не знаю и никогда не знал! Вот это да! – ахнул он, рассматривая своё отражение в большом зеркале дежурки и мысленно представляя рядом с собой ту Алёну, – она бы сейчас годилась мне в дочери, – ужаснулся он. Сеня теперь пацан против него, а с Юрием Александровичем они были бы ровесниками. Ольге Поликарповне он мог бы говорить – *Оля* и обнимать её в кулисах, как Юрий Александрович... Сколько ей сейчас? Лет шестьдесят, больше? Она просто старушка. А директору лет восемьдесят? Он, наверное, на пенсии. А Книге? Девяносто? Наверное, умер уже...

Раньше он не замечал, как летит время... Может быть, и замечал, но ему казалось, что они летят вместе: как всадник и лошадь... А выяснилось – нет. Оно уже ускакало, а его кляча всё чаще требует остановок – корми её, пои, развлекай, а то и просто так – стой и всё!

«Олегу было на двенадцать лет меньше, чем мне теперь». Троицкий вспомнил вокзал, перрон и две фигурки – Олега и Инны – топчущие свои тени. Он опять думал о ней. Видел её сухую, истончившуюся кожу на кистях рук, у шеи, под глазами. Стало больно – ушло, не вернуть, конечно.

Троицкий стоял и слушал, как стихал галдеж расхившихся зрителей. Сейчас она придет, ждать осталось недолго. Но она не приходила. Театр пустел. Актеры разбежались, наспех сняв грим. Незаметно в душу закралось нетерпение, знобкое как лихорадка. Он посмотрел на часы. «Не было тут женщины в зеленом платье?» Вахтерша спохватилась и протянула ему записку.

Он вспомнил о дне, казалось, давно затертом другими: в тот день он тоже ждал Инну, сидя на скамейке перед её домом и мысленно представлял её комнату: Инну в ней – всю в кружевах, ступавшую к нему навстречу, как ступала Та – из пены морской. И еще всё было впереди и еще всё могло быть – тогда, там, в их молодости... Но... не было ни пены морской, ни белой ноги, ступающей к нему, ни её – той, которая с ним, там, навсегда.

«Я не сбежала. Дима остался с семьей в Н-ске, а я живу за полярным кругом и по-прежнему одна, и другой жизни не хочу. Ты сейчас меня поймешь, если я скажу, что и синица у меня в руке благополучно околела».

Инна опять (и в который раз) ускользала от него. Сейчас она уже в купе, разглядывает из окна вагона провожающих на платформе: их лица, ничем не примечательные, их потертые пальто, шубы из искусственного меха; слушает голос, гулким эхом доносящийся из репродуктора. Соседи по купе притиснули её к окну, рассовывая по полкам вещи. Куда она едет? Опять в ту жизнь, в очередной Н-ск, чтобы, приводя в дом мужчину, прятать его от соседских глаз, месить уличную грязь, играть в полупустом зале дрянные пьесы, выслушивать пошлости *главного*, приехавшего в театр на сезон-два самоутверждаться? За окном медленно проплыл московский перрон, а через час – степь, ночь, Москва как мираж, как призрак – была, не была... Это, как душа, расставаясь с телом, утягивается длинным тусклым туннелем в тишину и мрак небытия.

В «Артистическом» – теснота, знакомые лица. Многие здесь ужинали после спектакля. Он медленно прошел между столиками, заглянул в дальний зал для особых гостей. Он не сразу поверил, что женщина в углу за столом очень похожая на Инну, не Инна. С такой силой качнуло назад маятник, что он готов был опять всё начать сначала. Троицкий пил до закрытия кафе, пока за ним последним не захлопнули двери.

Холод поселился в нем, пролез под свитер, крепко держал сзади за шею, запустив ледяные щупальца до лопаток. Где-то в подсознании чей-то голос нашептывал слова романса: «Выхожу один я на дорогу; сквозь туман кремнистый путь блестит; ночь тиха. Пустыня внемлет богу, и душа с душою говорит». «И звезда с звездой говорит», – поправил он себя и поразился своей ошибке. Да, именно так было в Н-ске – общались души людей: «я есть такая» – говорила одна, «а я есть такая» – говорила ей в ответ другая. И о чем бы ни заходил разговор, из-за чего бы ни вспыхивал спор или скандал, суть была в этом – противостояли души, без возраста, без чинов, без званий. Просто одна была такой, а другая... Он вспомнил всё! И, вспоминая, чувствовал, как опять возвращает его к себе, тянет назад в прошлое, уже, казалось, совсем забытая им, будто чья-то – не его – жизнь в Н-ске: неустроенная, полная катастроф, жесточения и борьбы. Наверное, потому, думал он, что не уступил тогда ни малейшей частички себя. Может быть, это было мальчишеством... А если, перерастая в себе мальчишество, мы перерастаем и самих себя? Учимся себя контролировать, стараемся быть такими, какими нас хотят видеть, делать то, что от нас ждут? Становимся рабами навязываемой нам роли, от которой уже не смеем отступить ни на шаг. Разве создать теорию относительности – не мальчишество по отношению к здравому смыслу; или влюбиться в семьдесят лет как это сделал Гёте; или стреляться Пушкину, черт знает с кем; или ехать больному Чехову на Сахалин, или... любой живой поступок без оглядки на других – одобряют, не одобряют – разве не мальчишество? *Им* движется жизнь. *Оно* всё то, что свободно выражает человека, его чувства, его мысли, его мечты, его надежды... Это феномен не только возраста – и таланта.

Он шел без шапки в расстегнутом пальто по пустым улицам. На перекрестке металась у автобусной остановки молодая женщина. Оглядывая пустынную улицу, она пыталась одним движением влезть в рукав короткой шубки, роняя в снег сумочку, поспешно её поднимала, и вслед за новой попыткой натянуть на себя шубку, опять склонялась за сумочкой, выпавшей из рук. Её отчаяние, слезы в глазах, испачканный в грязном снегу рукав, заставили Троицкого остановиться. «Давайте вам помогу», – предложил он, придерживая шубку, пока женщина искала свободной рукой неуловимый рукав. «Что с вами? Вам нехорошо?» Женщина затравленным взглядом блуждала по улице и что-то мычала невразумительное, что её бросили, одну, без денег, что все мужчины сволочи, и теперь ей не добраться до дома. Он видел, что помимо какого-то несчастья, случившегося с нею, она была еще и пьяна. «Он ушел», – бормотала она, куда-то указывая сумочкой. «Вы, где живете?» Она безнадежно махнула рукой. «Далеко?» Тот же отчаянный взмах руки. «Я пропала», – вдруг спокойно сказала она и подняла на него заплаканные глаза. «Вы доберетесь домой сами?» Её взгляд ухватился за него и уже не отпускал – она не отвечала. «Стойте здесь. Я поищу такси».

Они сидели на заднем сидении, обнявшись. Женщина привалилась к нему и он чувствовал, как её влажные мягкие губы касались его лица. Вся тяжесть этого вечера ушла куда-то, вся его бессмысленность обрела, наконец, какой-то смысл. Ехать было далеко за МКАД в новый район, но ему представлялось, что они не едут в такси, а плывут над дорогой по ночному городу, сцепив руки, ни о чем не думая, ни о чем не сожалея, ничего больше не желая, примирившиеся, взволнованные, очень нужные друг другу, уцепившись один за другого. Если есть «седьмое небо», они были там. Их губы сами нашли тропинку, они целовались пьяно, страстно, прерываясь только затем, чтобы перевести дыхание. Она улыбалась ему, гладила его, просунув под пальто руку, терлась о щеку заплаканным горячим лицом. Прическа рассыпалась, она старалась поправить её заколкой, но в такси трясло, их заносило на поворотах, заколка выскальзывала, не защелкивалась, и они снова целовались, укрывшись от водителя в её рассыпавшихся волосах.

Микрорайон из железобетонных баракаов – один фонарь на всю улицу. Он вышел из такси, чтобы её проводить. Поднялся с нею на последний этаж. Она приободрилась, повеселела. Ткнула пальчиком в кнопку звонка. Трезвон был на весь дом. Дверь открылась. Он хотел войти вслед за нею, но она обернулась, с силой ткнула кулаком его в грудь: «пшел» – и дверь захлопнулась.

Троицкий стоял, будто с ног до головы облитый помоями. Ни спасибо, ни извините, ни до свидания, ни даже прощайте. Пьяное «пшел» и исполненный ненависти удар в грудь.

Он медленно спустился, оглядываясь, и всё еще надеясь, что она опомнится, догонит его и он еще услышит её извинения. И нужно ему это было? «Нужно, нужно!» – зло ответил он на свой вопрос.

В такси он молчал. Шофер, отъехав от дома, спросил: «Куда сейчас?» – «В Петербург», – без паузы ответил Троицкий. Шофер обернулся, с интересом на него посмотрел, ничего не сказал, прибавив газу. Троицкий покачивался рядом с шофером, опустошенный, отупелый, изредка прикрывая глаза; незаметно для себя он впал в сонливость, пока не вырубился окончательно – до полного бесчувствия.

Он лежал на обочине, ощущая на лице мелко сыплющийся сверху снег. Весь окоченел. Голова чугунная, не сдвинуть. Не разгибаяющимися пальцами он пошарил вокруг, ища шапку. Дотронулся окостеневшей ладонью до лба. Голова была в крови. Лежа, не двигаясь больше, он долго собирал все силы, чтобы подняться, мысленно представляя, как он, упираясь в землю локтем, выставив перед собой левую руку, приподнимается с её помощью, прикрыв глаза, потом, перевалившись через правый бок, встает на четвереньки и усилием воли пытается подняться. «Люди, – проносится в его сознании, – люди, вы зашли слишком далеко». И вдруг слезы полились из глаз, он даже захлебнулся, будучи не в состоянии их унять. Лежит

сейчас на обочине куча дерьма, но *оно* поднимется, доберется до города, явится к вечернему спектаклю, заполнит своим телом очередной костюм, нарисует гримом лицо, и простодушная публика будет благоговейно внимать этому *оборотню*. А *оборотень*, прикинувшись настоящим, будет глубокомысленно вещать, обратясь к публике напрямую, со скорбной интонацией, якобы отражающей искреннее чувство: «Что это?», – спросит *оно* голосом *Черткова*: «искусство или сверхъестественное какое волшебство, выглянувшее мимо законов природы? Или для человека есть такая черта... через которую, шагнув, он уже похищает несоздаваемое трудом человека, он вырывает что-то живое из жизни, одушевляющей оригинал?.. Или за воображением, за порывом следует, наконец, действительность, – та ужасная действительность, на которую соскакивает воображение со своей оси каким-то посторонним толчком... которая представляется жаждущему её, когда он, желая постигнуть прекрасного человека, вооружается анатомическим ножом, раскрывает его внутренность и видит отвратительного человека. Непостижимо!» Его *Чертков* усваивается публикой как «витаминный салат», предлагаемый по весне для профилактики, расхвывается публикой по фразочкам и уносится из театра домой. А игровой костюм уже покинуло *нечто*, бывшее каким-то *Чертковым*, и одним усилием воли опять возвратилось в *себя*, чтобы пронести затухающую, чадающую свечу от одного жертвенника к другому, так ничего о себе не узнав: «Половина жизни моей перейдет в мой портрет... – слышится Троицкому, как собственное откровение, – бесчисленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидимо, без образа, на земле. Он во всё силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли, и даже в самое вдохновение»...

Всё сместилось в мозгах. Как же тяжело, кажется, делать то, что чувствуешь в душе – вот *онó*, оно – *твоё*. Никто не может знать этого лучше тебя. Это *твой* вопрос, и только ты способен (и вправе) его разрешить. И даже если ты упираешься, *оно* толкает тебя, и на вопрос: что же мне делать? – не отвечает; но только *ты* можешь знать ответ, только для тебя виден тот *свет* где-то там, впереди – иди за ним, и будь, что будет...

Полежав еще в каком-то беспомыслии, он из последних сил проделал всё то, что минуту назад представлял себе только мысленно, и встал. Слева от дороги жалкая лесопосадка, справа черно-белое поле, ни денег, ни документов, впереди грязная разбитая дорога – куда ж идти? *Незачем беречь душу, если не хочешь её потерять* – чьё это напутствие?..

Часть первая

Глава первая

I

Троицкий долго не мог уснуть. Из крошечной тьмы вынырнула станция, оставив в памяти яркое пятно и название: «Прогонная». И опять тьма и снова пустынная платформа... Поезд увозил его всё дальше от Москвы, от знакомой, привычной жизни...

Институтский садик – любимое место. Даже зимой собирались они здесь, сидя на спинках обледенелых скамеек, и смотрели на освещенные окна института. Там, за двойными стеклами, играли на ф-но, распевались вокалисты, истошными голосами кричали первокурсники, «анатомируя» природу страсти... Его курс выпускался этим летом и накануне экзаменов их волновало одно – кого возьмут в московские театры. Если не светит, то к кому из провинциальных режиссеров стоит проситься. И всё-таки рано или поздно все надеялись вернуться в Москву. Настоящая творческая жизнь была здесь в столице. Счастливики, уже принятые в труппы московских театров, разъехались по домам или подмосковным дачам. Остальные ждали своей участи до конца августа. Теперь они собрались в садике в последний раз.

Скамья под топодем – всё лето укрывались они тут от жгучих лучей солнца. Не хотелось уходить. Не верилось, что не придется им больше мчаться сюда из общежития, скинувшись вчетвером на такси. Конечно, и летом было в удовольствие студенту прокатиться в машине, подставляя лицо прохладному ветерку, но зимой ничего не было соблазнительней, чем ранним утром забраться в теплое такси и досыпать там, согревшись, под сонное урчание двигателя, глядя из окна, как мерзнут у троллейбусных остановок толпы народа.

Институт до сентября опустел, затих. Больше не шлялись по коридорам толпы взвинченных абитуриентов, осаждавших его целое лето. Внутри воняло краской, в залах паркетным лаком, потолки источали сырой запах побелки. Настройщик возился с роялем в танцевальном классе. Дворничиха собирала опавшую листву, замусорившую садик. Небо млело, уже по-осеннему высокое, с разбросанными в беспорядке легкими облаками, пронизанными солнцем.

Троицкий осоловел, нежась в слабых порывах ветра, поглядывая через ограду на улицу. Машина с тонированными стеклами притормозила у ворот института. Он поднял голову: на него, кружась, опускался желтый лист. От ворот института мимо садика шла Алёна. Как она появилась тут, он и не заметил. Троицкий бросил взгляд за ограду – никакой машины там уже не было. «Не в ней же она приехала?» Он не стал сразу окликать Алёну, хотя ждал её уже давно. Невысокая, с пышной копной золотистых волос, цокая каблучками, слегка покачивая бедрами, сосредоточенная, не глядя по сторонам, она толкнула дверь института и скрылась внутри. Кто-то рядом сказал: «На Алёне новое платье». Из института она вышла с Юлькой, соседкой по общежитской комнате, толстухе, вечно пунцовой, с приклеенной от смущения улыбкой (позже у неё обнаружили туберкулёз), она-то и показала Алёне на Троицкого, вынудив его подняться им навстречу.

«Поехали в Архангельское», – предложил кто-то, и, подхватившись, все помчались к автобусной остановке.

«Это Юлька виновата», – оправдывалась на ходу Алёна, смахивая с лица капельки пота. – «Извини, я бы не стал тебя ждать, если бы мне не уезжать завтра». – «Что это значит?» – «Ничего, кроме того, что я тебе не верю». – «Не поняла. У меня нет алиби или я должна оправдываться?» – «Откуда ты такая белая и пушистая?» – «От любовника». – «И мотай к нему» –

«Ты же уезжаешь». – «Не стоит из-за этого ломать свои планы». (Успевая обмениваться репликами, они догоняли остальных.) «Ты совсем не обязана». – «Я не обязана». – «Вот и живи, как знаешь». – «Так и живу». – «И чудненько». – «Было бы, но ты завтра уезжаешь».

Выехали за город. Ему вдруг померещилось, будто это всё во сне: он едет – и не знает куда и что там его ждет, но всё равно он едет, вопреки страху – и зачем? Приедет и увидит, что ничего там нет: куст, одинокая церковь или просто мираж. А они с Аленой, сцепившись руками, идут, и нет большего удовольствия, чем так блуждать с нею, продираясь сквозь заросли парка или порхать по веткам, видоизменяясь. Хмы-хмы.

Архангельское замаячило издали длинной липовой аллеей, образовавшей вдоль парковой ограды мрачный тоннель. Посетителей на этот раз было мало и студенческая компания захватила полверанды летнего кафе. Пили вино, ели сосиски, креветки. Троицкий сидел против Алёны, пихался под столом, стараясь достать рукой до её колен, и изучал облупившийся навес. Гуляя по парку, обнимал её сзади за каждым кустом, погружая лицо в пахучую копну её волос, просовывая руки ей под мышки. Она пробовала от него освободиться и тут же её грудь оказывалась в его ладонях. Алена замирала и струйки пота катились у неё по позвонкам.

Студенты оккупировали скамейку за балюстрадой, шумели, толкаясь, щиплясь и тесня друг друга. Отсюда им было хорошо виден военный санаторий. «Я, наверное, буду поступать на режиссерский». – «На телевидении открылись курсы дикторов, я записалась. Не думаю, что из меня выйдет классная актриса». – «А если не поступишь?» – «Папа говорит, чтобы я шла на театроведческий». – «Её возьмут, у неё мама театральная критик». Говорили о показах в театры, о блате, о благодетелях. «Я осталась бы в Москве, если бы он взял к себе в театр. А так, лучше выйду замуж и уеду в Германию. Что там буду делать? А не всё ли равно – детей рожать». – «Лучше иди на подиум, с твоей внешностью и ростом там тебе самое место». – «Лучше давай с нами на дикторские курсы, все девчонки собрались туда. Если кто не пройдет, есть там другая работа – ассистентская или...» – «Не понял, – подскочил Троицкий, – а кто же в актерки пойдет? Значит, я один со всего курса получается? Мне теперь одному за всех отдуваться, так я понимаю?» – «Иди, иди, работай – твое прямое дело. Ты больше ни на что не годен». – «Слышали, его Мастер хотел к себе в театр взять». – «И передумал. Не осмелился такого наглеца пригласить». – «Ну и ладно, – махнул Троицкий, – ни за что бы, конечно, я не отказался, но как бы жалел потом. Мне там лет сто даже второсортных ролей не дадут. Или придется выслуживаться, а еще хуже интриговать, а это уже не по мне. Черт с ним, с московским театром. Мне предложили в Н-ске *Треплева*, кто откажется. Надо начинать с больших ролей... как раньше делали. Из толпы в солисты не выходят. А где я солист – не важно. Солист, он везде солист». – «Давай, поезжай в свой Задрыщенск, а мы и тут в Москве не пропадем».

Еще долго они так болтали, хохмили, толкались – и вдруг затихли. Закатное солнце выстлало длинными тенями зеленую лужайку и всех пробрал мёрзкий ветерок.

Еще недавно совсем чужие, наугад выуженные приемной комиссией из толпы, они с любопытством приглядывались – чем же каждый из них был так интересен, талантлив, не как все, что его выбрали. Конечно, фактура тут не последнее дело для актера. Но скоро всем стало ясно, что герой-то он герой, а темперамент у него хлипкий, заразительности – ноль. Тот ищет иголку на потолке, у другого партнерша выходит после каждой репетиции вся в синяках, третий краснеет и заикается на сцене, даже изображая самого себя, и к концу учебы незаметно пришло разочарование – друг в друге, в себе и в рутине репетиций.

На обратном пути они ехали притихшие, упершись взглядами в затылки. Вышел один, махнув на прощание, и скрылся. У метро сразу выскочили две парочки, что-то крича вслед отъезжавшему автобусу. Один за другим покидали его бывшие сокурсники и на остановке у общепита Троицкий с Аленой, промолчавшие всю дорогу, оказались в одиночестве. «А Юлька, что она тут делает?» – «Хвосты сдает».

Трифоновка, пустынная, забрызганная поливальной машиной, с грустью провожала их до общежития лужами и темными окнами.

В комнате погасили свет, и, раздевшись, Троицкий полез к Алене в постель.

«А ты, Юлька, спи. Заткни уши и спи. Я завтра уезжаю».

На вокзале Алена не сдержалась, расплакалась. Ему тоже стало не по себе – так тяжело вдруг... Поезд увозил его от Москвы всё дальше, а Троицкий мысленно продолжал идти по перрону за Аленой в сторону вокзала обратной дорогой – в общежитие. За окном мелькали полустанки, безлюдные, освещенные одним-двумя тусклыми фонарями, а перед глазами у него маячил одинокий силуэт Алены. *Одинокий?* И его благостное настроение разом улетучилось. Вместо любви и жалости – вопрос: «Кто?» Не успела она отойти от вагона (он видел!), как её уже поджидали у дальнего края платформы. Значит, пока они прощались, кто-то наблюдал за ними издали, переживая, когда закончится наконец эта комедия. Нет, это невозможно, разве так смотрят на тебя, разве так чувствуют, разве так плачут, если кто-то уже дожидается у вокзала, чтобы увезти куда-нибудь в гости, на дачу... Дух захватило от предательской догадки.

После экзаменов Алена осталась в Москве из-за него. Они вместе сочиняли её родителям какую-то чепуху про студенческие отряды, а Троицкий ждал ответ из министерства. Так они тянули день за днем, неделя за неделей. Алена, раздраженная враньем, безденежьем, жарой в общежитие, тихо злилась. Он чувствовал это и злился на неё, но при этом сходил с ума от счастья, что она рядом. Никогда нельзя было понять – ей можно верить или?.. Ему во всем мерещилась её лживость – в словах, в поступках, даже в мыслях, о которых он ничего не хотел знать. Она часто упрекала его: *мне иногда всей собой надо убеждать тебя в моей искренности*. А разве он это выдумал? Разве не она постоянно разрушала его спокойствие, его уверенность в ней? Разве он не помнил их внезапную поездку в Питер, когда им захотелось вдруг убежать от всех, прежде всего, от московской маеты, его подозрений и хоть один день прожить вдвоем, не расставаясь, без вранья и её намеков, вечно вселявших в него муки ревности.

Гуляя по ночной Москве, они вдруг сорвались и со всех ног понеслись к ленинградскому вокзалу. Уже где-то у касс стали считать деньги; оказалось, что на билет и на два одноместных номера им должно было хватить (они, конечно, и так поехали бы, если б даже и не хватало), а из Питера, рассудили они, можно будет написать родителям и те вышлют деньги на обратный путь телеграфом.

Наверное, никогда он не видел её такой счастливой. Что это было с ними – объяснить невозможно. Отрыв, улёт, полёт. Они даже не целовались, закрывшись в купе, наслаждаясь перестуком колес, покачиванием вагона, тусклым светом, затхлым запахом пыльных тюфяков, нескромностью торопливых фонарей, заглядывавших в окна вагона на пригородных платформах.

Поселились они в гостинице где-то на окраине Питера, сняв два номера. После завтрака в кафе поднялись к себе переодеться и застыли у окна, не веря глазам: снег, липкий, густой, тяжелыми хлопьями валил на город. Это было так неожиданно и так красиво – в середине мая, после жарких солнечных дней, что казалось настоящим чудом или сном. Они смотрели в окно, обнявшись, и чувствовали себя необъяснимо счастливыми.

Потом были прогулки по Питеру. Вечером спектакль в БДТ. И, наконец, – ночь. И опять они (нет ответа) разошлись по своим номерам, а не остались на ночь вместе, что, казалось, было бы естественным в их положении – лови момент. Необъяснимо, что они боялись разрушить? Они еще долго перезванивались, лежа в постели. Но состояние, в котором они пребывали, было несовместимо с тем, что мог бы им дать грубый секс.

А утром уже всё было другим и они были другими, и никогда с ними больше *такого* не повторилось, как будто вместе со сном отлетело куда-то их вчерашнее настроение... Всё утро они не вылезали из постели у неё в номере. Выгнал их на улицу голод. Они бросились

на телеграф, но перевод не пришел. Денег оставалось только на две чашки кофе. Они зашли в кофейню, и вдруг Алёна берет творог, пирожки, кофе со сливками. Он смотрит на неё, не понимая, что она задумала, чем будет расплачиваться. Алёна спокойно достает из сумочки крупную купюру и протягивает кассиру. *Откуда*, чуть не закричал он. И потом за завтраком и весь день допытывался – откуда? Она хитро улыбалась и отвечала: *заработала, ночью, когда ты спал у себя. Ты же оставил меня одну*. Звучало глупо, грубо, но загадочно и почему-то правдиво. Потому-то он и пропустил её слова мимо ушей или, во всяком случае, сделал вид, что не понял. Шутка, конечно. Но откуда же тогда деньги? Он так и не узнал этого и больше не спрашивал её, а она ему так ничего и не стала объяснять. Похожее коварство с её стороны было частым, если не в поступках, то в словах, полных тайных намеков, ничего ему не объяснявших. И сегодня он снова оставил её в Москве одну, и чего от неё ждать, не знал... Мог он быть спокоен? Лучше бы она не плакала, а помахала бы ручкой и ушла. И всё-таки ему были так приятны её слезы, её несчастные глаза, судорожное дыхание, когда он, обняв, прижался к ней щекой к щеке...

II

Троицкий уснул в вагоне под утро. Тяжелая вязкая дремота поглотила его с головокружительной быстротой и вытолкнула наружу, когда уже совсем рассвело. Вокруг суетились люди, громко играло радио, за окном тянулись пригородные районы, мокли в мороси товарные составы – поезд подходил к узловым станциям. Было обычное серое утро...

Поезд ушел. Затих, ставший привычным за ночь, как удары собственного сердца, перестук колес. Троицкий и двое пожилых мужчин, оглядываясь, топтались на привокзальной площади

Глушь. Слышно, как кричат на пустыре вороны, скрипит деревянная тележка, которую, ковыляя, тащил за собой старик в ветхом пальто, сгорбившись, едва передвигая ноги. На тележке из груды вещей торчал подшитый валенок.

Бритый наголо мужчина поманил к себе Троицкого.

– Артист?

Троицкий кивнул.

– Давай к нам. Может такое случиться, что автобус пришлют.

Они познакомились.

– А городишко неказистый, – подмигнул Юрмилов, и вытащил из кармана берет, покрыв бритую голову.

– М-да, – промычал Крячиков, подергав себя за нос, шишкой торчавший на плоском невыразительном лице. – А вы где раньше работали?

– О-о-о, – оживился Юрмилов, – я, как Счастливец, считай, всю Россию изъездил. Не сидится на месте, тоска берет.

– А я, – тяжело вздохнул Крячиков, – ни за что бы с места не сдвинулся, если бы квартиру дали. Жена у меня и двое сопляков. Общежития – всё как надоели!

– Хороший артист квартиру не ищет, – убежденно сказал Юрмилов, – она сама его находит. – Он обернулся к Троицкому. – По распределению сюда?

– Из института, – кивнул Троицкий.

– Салага.

– Тепличное растение, – зевнул Юрмилов. – Наверное, Гамлета хочешь сыграть?

– Треплева.

– Вот-вот... а почему бы нет? Всё вам разжуют и в этот самый... рот положат: сверхзадачу, сквозное действие, так сказать, этюдным методом, по науке. Только театр не институт.

Днем роль дадут, а вечером её уже играть надо – хошь, не хошь... Что? Не нравится? – улыбался Юрмилов.

– Онé так не привыкли, – объяснил Крячиков. – Я вот института не кончал. Взяли меня в театр, и сразу на сцену: «Стой, говорят, в толпе и смотри, что другие делают». Я от прожекторов ослеп, от страха окостенел. Помню, схватил кого-то за руку и держусь. Поначалу ничего, а потом стали у меня эту руку вырывать. Я и рад бы отпустить – не могу, судорогой свело. Едва оторвали. Потом оказалось, я героиню держал. Ей играть, а я из толпы её не выпускаю. Думал, больше на сцену не выйду, но, как видишь...

Подкатил новенький автобус «Кубань», забрызганный свежей грязью.

– Артисты? – крикнул из окна шофер.

– А разве не видно? Будет ещё кто мокнуть под дождем в чужом городе.

У попутчиков Троицкого вещей было немного, всё ушло в контейнерах. Они помогли ему внести в автобус два тяжелых чемодана.

– Что там у тебя?

– Книги.

Они чуть не описались, так смеялись. «Очуметь, да?», – всё приговаривал Крячиков, оглядываясь на Троицкого, будто не верил своим глазам.

Автобус дернулся, развернулся. Троицкий плюхнулся на сиденье.

– В кино снимался?

– Да так... в эпизодике.

– Вот-вот, – переглянулись они. – Весь гонорар видно убухал, – пнул Крячиков чемодан. – Снимутся в эпизодике, а потом товарищей своих за людей не считают. Не так скажешь?

– Был у нас один... киноартист, – зашелся стрекочущим смехом Юрмилов, – помереть хотел досрочно, не в середине второго акта, а в самом начале. Очень на поезд спешил, какая-то студия на пробы вызвала. Умолял нас, чуть ли не на коленях ползал: «Застрелите меня, братцы, скорее, век не забуду». Начали второй акт: он прямо лезет на нас, мол, лучше пристрелите, а то... Терпели мы, терпели. Наконец, я не выдержал, вынул пушку и бабах нашего киноартиста, тот с радостью плашмя на пол и грохнулся. Раньше он в этом месте долго кряхтел, сопел, топтался, сверкал глазами, а тут как подкошенный – упал и лежит. Мы ноль внимания, играем, будто и нет его. Слышим, шипит наш «мертвец»: «Вытащите меня за кулисы, Христа ради, черти!» Да-да, так мы его и потащили! Закроют занавес – сам встанет. А то, ишь ты, киноартист. В театре, значит, что – халтурить можно? Закрыли занавес, он вскочил, как ошпаренный, будто и вправду стукнутый кинообъективом, по дороге расшибся, чуть ногу не сломал, но на поезд опоздал, – закончил Юрмилов удовлетворенно.

Где-то в разрыве туч сверкнуло солнце. Троицкий обернулся к окну. Он не сразу понял, что произошло, будто зажгли в сумерках фонари, так потемнели и осунулись деревья, зачернела на обочинах земля, и солнечный блеск, отражаясь в окнах домов и лужах, болезненно заискрился в раннем пасмурном утре.

Юрмилова и Троицкого поселили вместе, как было сказано: «пока», а их товарища до приезда семьи определили в трехместный.

– И не забудьте: сегодня в двенадцать в театре сбор труппы, – уходя, напомнил администратор.

– Давайте соснем пару часов, а там буфет откроют, позавтракаем, и в театр, – предложил Юрмилов. – А после в город на разведку, осмотреться надо.

Разошлись по номерам, разобрали постели, улеглись.

Разбудил Троицкого резкий стук в дверь. Прямо с порога Крячиков сообщил, что главреж из театра ушел. Ходят такие слухи, что уже назначен новый *главный*.

– Черт его знает, – волновался Крячиков, – и что теперь будет? Приглашал меня Воронов, а приедет какой-то Уфимцев, привезет своих... а нас куда? С нами теперь как? – Он щелкнул

от досады языком и заходил по номеру. – И... главное, ведь сорвал с места столько народу, наобещал золотые горы, и на тебе – всех бросил!

– Но... как же это? – удивился Троицкий. – Он меня так уговаривал, зачем?

– А ни зачем, – взорвался Крячиков. – Был *главным* – хлопотал, обещал, сманивал, а получил новый театр – про всех забыл. Нужны мы ему!

– Нет, но как же? Он в министерство ходил... ну, вот... буквально месяц назад...

– Месяц. Ты думаешь, зачем он в Москву ездил, тебя смотреть? – усмехнулся зло Крячиков. – За новым назначением!

Юрмилов довольно побрякивал, плещась под краном.

– Ничего, ребятки, обойдется как-нибудь. У самого кошки скребут. Мне тут такого наобещали, а теперь и спросить будет не с кого.

«Но как же так? Зачем? Зачем?» – вертелось у Троицкого на языке. Месяц назад в министерстве ему прямо сказали: «Если Воронов вами заинтересовался, работать вам в Н-ске, *Треллева* едете играть». Обидно, что ташили насильно, но и лестно – за него боролись. «Меня интересуют талантливые ребята вроде вас», – обольщал его Воронов.

В гостиничном буфете за прилавком скучала угрюмая женщина, тупо глядя на дождь, струившийся по стеклу. За столиком парочка молчаливо поглощала завтрак. Мужчина – белесый, прямоугольный – ел шумно и жадно, будто всем своим видом хотел сказать, что заслужил это. Девушка жевала вяло, капризно, то и дело поправляя протравленные волосы, дыбом стоявшие над черноватой макушкой.

– Мне сделайте яичничку, пожалуйста. Если можно, сметанки, маслица, – улыбаясь, обратился к буфетчице Юрмилов.

– И, главное, *своих* навезёт, – услышал он оброненную за столом фразу.

Юрмилов оглянулся. Забрал свою сметану, и тут же подсел к парочке.

– Вы не в здешний театр приехали?

– Нет, – ответили ему недовольно, – мы строители.

– Извините.

Строительша взяла с блюда чашку кофе, но тут же поставил её на полированный стол: – Ах, черт, горячая.

Едва слышно мурлыкало за прилавком радио. Будто пригоршнями воды хлестал по стеклу дождь. Юрмилов цокал ложкой в стакане со сметаной. Троицкий пытался отодрать со дна сковородки пригоревшую яичницу. А Крячиков вздыхал:

– А дождь, какой! Эх, приехали.

III

У театра – продолговатого желтого здания с портиком над входом – шумела сточная вода, заливая мостовую.

В проходной, узкой и тесной, в плохо освещенных коридорах (по дороге в зрительское фойе), в зрительском фойе, заставленном рядами стульев для торжественной церемонии открытия сезона, раздавались громкие, оживленные возгласы актеров. Одни обсуждали качество загара, кормежку в санаториях, другие расспрашивали, кто, где был и насколько похудел, обнимались, целовались и так тискали друг друга, будто вернулись не из домов отдыха и не с берегов Черного моря, а из печей крематория.

– Иудин день, – нашептывал Юрмилов.

– Люблю театр! – патетически декламировал полненький актер, которого все звали Фимой. – Но... странную любовью. – И вдруг, доверительно заглядывая в глаза: – А вы его любите, как я? – спрашивал он у каждого, кто попадался ему на пути. – А вы? А вы? А вы? А вы любите театр? – приставал он к высокому рыжему актеру – («иди в ж...») – А вы? –

уже увивался Фима вокруг пожилой актрисы с коричневыми пятнами на полных руках. – Вы любите, Антонина Петровна? – допытывался он. – И вы? И я... люблю!

У Троицкого рябило в глазах. Он бесцельно бродил среди незнакомых людей, вызывая у них смешанное чувство любопытства и осторожности.

Наконец появился директор. После короткого приветствия он передал слово начальнику Управления культуры. Говоря о пьесе, взятой театром к постановке, тот одобрительно отметил, что пьеса «своей тематикой гармонирует с идеей встречи приближающейся годовщины». Пожилой режиссер Михаил Михайлович ознакомил труппу с новым распределением ролей в «пьесе к годовщине», и Троицкий услышал среди прочих и свою фамилию.

Из яркого света зрительского фойе актеры переместились в душную полутьму закулисной части. Впереди в узком лабиринте зигзагообразного коридора Троицкому бросилась в глаза знакомая женская головка с темной макушкой под пышным начесом.

– Артемьева, Галка! – обогнал его полненький Фима, на ходу раскрывая объятия.

Темная макушка исчезла. Из толпы глянуло на Троицкого хмурое лицо крашеной блондинки. Ему показалось, что и она узнала его. «Нет, мы строители», – тут же он вспомнил её раздраженный голос, и обернулся: где Юрмилов? Но тот исчез сразу же после собрания. «На разведку», – шепнул он, подмигнув.

Впереди произошла заминка, движение застопорилось, послышались громкие восклицания:

– Илья Иосифович?

– Как? Вы еще здесь?

– А мы думали, что вы уже уехали!

Навстречу артистам в сопровождении Михаила Михайловича шел, чуть прихрамывая и опираясь на палочку, остроносый мужчина. Это был Воронов. Он успевал кивать направо и налево, жать актерам руки, остричь, не прерывая разговора с Михаилом Михайловичем, и не останавливаясь.

– Здравствуйте, – перегородил ему дорогу Троицкий.

Илья Иосифович узнал его.

– Ну, как я вас купил, – подмигнул он, улыбаясь. – Вот, Михал Михалыч, рекомендую, очень способный юноша. Брал для себя, но что поделаешь... пользуйтесь.

– Илья Иосифович, я бы хотел, – запинаясь, быстро заговорил Троицкий, – если вы уезжаете...

– Нет, нет, нет. Я дал слово никого с собой не брать.

– Тогда напишите в министерство. На меня там лежит заявка из театра, куда я... где мне... раз вы уезжаете...

Воронов развел руками.

– Всё, молодой человек, не я ваш хозяин. Вот просите Михал Михалыча. Отпустите, Михал Михалыч? – с подковыркой спросил Воронов.

– А мы его сначала испытаем, – натянуто улыбнулся тот, обдав Троицкого ледяным взглядом, – какой он артист.

– Уж не ревнуете ли вы? Ай-ай-ай, Михал Михалыч, вы неисправимы. Так что... вот так, Троицкий, работайте.

В репетиционном зале, Михаил Михайлович, одутловатый, с обвисшими щеками, устало погрузился в кресло и тихо заговорил. Он напомнил, что в конце сезона многие из них уже начинали репетировать в этом спектакле, и надеется, что за отпуск не успели забыть найденное на репетициях. Поэтому он предлагает сверить по ролям текст и сразу идти на площадку.

– С чем же выпускались? – благодушно спросил он Троицкого после того, как был прочитан первый акт пьесы.

– Глумов, – отвечая ему, встал с места Троицкий. – Холден «Над пропастью во ржи». Еще мы играли... к юбилею вечер одноактных пьес Чехова. Я играл в «Предложении»...

– Ну, поигрались и довольно, – вдруг нетерпеливо прервал его режиссер, – надо и за дело браться.

– А мы не «игрались», Михал Михалыч. На наши спектакли нельзя было попасть.

– Будем считать, что нашему зрителю повезло, – озорно оглядев актеров, заметил Михаил Михайлович. – Может быть, благодаря вам в этом сезоне в театре яблоку негде будет упасть.

Актеры заулыбались.

– Итак, внимание! Возьмем сцену, где герой... в нашем спектакле – это вы, Троицкий, неожиданно обнаружил, что жена ему изменяет. Пожалуйста, занятые в сцене на площадку.

– Ну, молодой человек, идите, удивляйте!

Троицкий пробежал глазами текст.

– Текст сейчас не важен. Важно понять, что и как...

Актриса, игравшая неверную жену, её любовник, полный, смешной флегматик, текст шпарили наизусть, и сцена, судя по тому, как уверенно они её начали, была у них отрепетированной. Троицкий, карауля реплику, еще сам не знал, что сделает в следующую минуту, готовый броситься, как в прорубь, в репетицию, сочиняя роль на ходу. Партнеры в первую минуту опешили от незнакомого текста, переглянулись, и тоже стали импровизировать. Дальше всё шло, как в счастливом сне: одна удачная реплика рождала в ответ другую, такую же удачную, сцена вдруг получилась и напряженной, и грустной, и смешной. Все, не занятые в ней актеры, прыскали, фыркали. Михаил Михайлович кряхтел, оттопырив нижнюю губу. Троицкий выглядел именинником. Самый страшный экзамен в чужом коллективе он, как артист, выдержал.

– Так-так-так, – ерзал в кресле Михаил Михайлович, пережидая, пока все успокоится. – Всё? А теперь, с вашего позволения, приступим к делу. Троицкий, входите. Да не так! Ну, войдите небрежнее, насвистывайте что-нибудь... Дайте ему черный котелок... Ну, ну...

Побежали за котелком. Ждать пришлось долго. Наконец его принесли.

– Наденьте. Да не так! Ну что вы, в самом деле! Нахлобучьте на глаза.

– Он мне мал, Михал Михалыч

– Я сказал до бровей – вот так. (И он, подойдя, с силой натянул котелок.) А теперь свистите. Вы и по городу шли, насвистывая, понимаете? Зачем? В целях конспирации.

Троицкий хотел было спросить, что он имеет в виду, Но голова, стиснутая котелком начала болеть, и ему стало всё равно, лишь бы поскорее снять котелок.

– Что это такое?

– Я... это свист.

– Это?

– Я не умею свистеть, Михал Михалыч.

– Плохо. Тогда напевайте что-нибудь.

– А что?

– Какая разница, лишь бы из той эпохи. Что это вы поете?

– Вы же сказали, вам все равно.

– Да, но не это. И не это. И это не то! Я сказал, а вы делаете. Чему вас учат в институтах? Бодро-весело, бодро-весело, – подгонял его режиссер, натаскивая на роль, как щенка, которого то бьют палкой, то суют в рот сахар. – Да не так! Ай-яй-яй-яй-яй!

Котелок обручем сдавливал виски. И хотя Троицкий старался изо всех сил, но у него ничего не получалось: не успевал он еще разобраться, чего от него хотят, как зычный голос режиссера уже требовал «игры», выполнения мизансцен, полной отдачи.

– Ну, что вы стоите столбом?

Троицкий содрал с головы котелок, и с облегчением сказал:

– Я не понимаю...

– Ай-яй-яй-яй, – волновался режиссер. – Плохо, что вы не понимаете. Очень плохо.

– Михал Михалыч, может, ему делать так, как он нам показал, – заикнулся было актер с лошадиными зубами. – А что, мне понравилось...

– Как он делал, Рустам, мы уже видели. Делать он будет так, как нам надо. Не скрою, молодой человек, лично я встревожен... тем, что увидел – «тренинг и муштра». Вы читали Станиславского? Надо приходиться на репетицию уже готовым к работе. Надо каждое утро вам начинать с психофизического туалета. Точно так же, как вы умываетесь, едите. Тогда у вас не будет ненужных вопросов. Вы понимаете?

– Понимаю. Нет, не понимаю...

По одышке, которая заметно у режиссера усилилась, было ясно, он недоволен подготовкой Троицкого к репетиции.

– Живости он от тебя хочет, – процедил сквозь зубы Рустам, и уже громко сказал: – Да плюнь ты копать в себе, жми на всю железку! Как раньше под суфлера играли, и пьес-то не читали, правильно, Михал Михалыч?

– Неправильно. Пьесу надо читать. Плохо, что вы её не читали. Это и видно.

– Я её читал, – стал оправдываться Рустам, – я ж не про то... ну, так всегда, всё переиначат... лучше не лезть и молчать...

– Я уже человек не молодой, – продолжал невозмутимо Михаил Михайлович, – ставлю свою, можно сказать, «лебединую песню», а вы первый год в театре и... Ай-яй-яй-яй... Перерыв, – объявил он и направился в кабинет к директору.

– Теперь для него каждый спектакль, как он ушел на пенсию, «лебединая песня», – обиженно проворчал Рустам, и подмигнул Троицкому, мол, не дрейфь, всё у тебя получится. Потом вдруг рассмеялся: – Ну, он тебе этот показ не простит. Ты понял? Пищи, но держись. Ничего, со временем отступится.

В перерыве Троицкий вышел в актерское фойе и закурил.

– Это... что у тебя? – подскочил к нему Фима. – Сигареты? А ну-ка дай... – потянулся он рукой к пачке, – я одну выкурю.

Кто-то из артистов хмыкнул. Фима благодарно обернулся на смешок. Он привык, что его шутки принимались.

– Хочешь, расскажу тебе, что такое система Станиславского?

Троицкий молчал, но смотрел на Фиму с интересом.

– Мне один старый артист объяснил. Говорит: тридцать лет проработал в театре и только под конец понял, что оно такое – система Станиславского. Вот, говорит, к примеру, я сажу, да? сажу! А в действительности? А-а-а!

И он захохотал, закашлялся дымом и легким шагом полетел по коридору, выпячивая живот и чуть переваливаясь с боку на бок.

– Дурак, – улыбаясь, сказала Артемьева. – Глупо, а смешно. Не обращайтесь на него внимания. Хотя анекдот не без соли. Действительно, не надо искать в том, что мы делаем, больше того, что там есть. Наша работа, как всякая другая, ничего нет в ней особенного. Одна встала, две сели. Две сели, одна встала. И вся игра. Виктюк сказал. – Она подсела к Троицкому. – Вы были на его спектаклях? Вас как зовут, забыла?

– Сергей.

– Хочу вас предостеречь. В театре надо жить по принципу: а Васька слушает, да ест. Что бы вам ни говорили, не берите в голову. И с Книгой тоже...

Троицкий с недоумением смотрел на нее.

– Это фамилия Михал Михалыча. Его здесь в шутку прозвали «Книгой за семью печатями». Я не первый год здесь, и вижу, как с ним работают те, кто хорошо его знает: под козырек и вперед... Думайте, что хотите, но делайте, что он вас просит. А стараться понять его – напрасный труд.

– Я так не умею. Это профанация.

Теперь уже она с недоумением смотрела на него.

– Вы это серьезно? Смешной вы. – Она улыбнулась.

– А что тут смешного? – обиделся Троицкий.

– Смешного тут действительно мало. Просидите сезон без ролей в массовке. Над чем же здесь смеяться.

– Хороший артист ролей не ищет, они сами его находят.

– А кто вас знает, какой вы?

– А я докажу.

– Где же, в управлении или в министерстве?

– На сцене.

– А кто вас на сцену пустит? Обидится Мих. Мих. и в отместку не займет вас ни в одном спектакле, да еще понесет по театру, что вы дрянь артист. А к нему здесь прислушиваются.

– Артемьева, тебя директор искал.

Мимо по коридору с озабоченным видом просеменила помощница режиссера.

– Уже бегу, – всполошилась она и, обернувшись к Троицкому, посоветовала: – Молчите, и не спорьте. Есть же у вас элементарный инстинкт самосохранения.

В щель приоткрывшейся двери гримерки, просунулась, цепляясь за медную ручку, розовая мужская ладонь с рыжеватыми волосками на коротких фалангах. После долгой паузы рука исчезла, а в оставленный просвет попало лицо молодой женщины с отсутствующим взглядом, которая, разговаривая с кем-то невидимым, машинально щелкала замком дамской сумочки, лежавшей у неё на коленях. Её прозрачные с зеленью глаза мокро блестели в ярком свете электрических лампочек.

– А я этого не одобряю, – вдруг до сознания Троицкого дошла фраза из разговора двух актрис, беседовавших поодаль. И он невольно прислушался.

– Она его, можно сказать, на ноги поставила...

– Да что там, – поддержала соседку Антонина Петровна, – не на ноги поставила, Зинаида Павловна, а жизнь ему заново подарила. Из госпиталя его сюда умирать привезли.

– Я и говорю, – с лихорадочным оживлением продолжала возмущаться Зинаида Павловна, худая, с жестким кукольным лицом, даже косившая от бьющего изнутри возбуждения. – Сколько ей пришлось пережить! Сколько сил отдала ему! И на тебе! На старости лет, когда и здоровье уже не то, и детям он нужен... такой фортель выкинуть. Я *своему* сказала – лучше меня зарежь, если бросить захочешь.

– Что это вы такое говорите, Зинаида Павловна...

– А что?.. Если у них до этого дойдет...

– Вот уж никогда бы не подумала. Такой серьезный человек, положительный мужчина...

– Ну, что местком решил? – сладострастно выпытывала Зинаида Павловна.

– Что решил... из дома он не ушел? Нет. С женой живет? Значит, все в порядке. Хотя я не представляю, какая у них там может быть жизнь.

– А дети?

– А они что, спасение? Если б она молчала, а то ведь, чуть что, ему такой скандалище закатит, да еще при детях.

– А ей не обидно?

– Конечно, обидно. А что сделаешь? Но мне и Инну жалко...

– Вот уж нет, – возмутилась Зинаида Павловна. – Ее мне нисколько не жалко. Совесть надо иметь. И не пара он ей – ни так, ни по летам. Счастье их, что ребенка нет, – победоносно закончила Зинаида Павловна.

– Неужели до этого дошло?

– Ей-богу, ты будто с луны свалилась. Все гастролы они... только и шастали из номера в номер.

– Вот уж бы не подумала... На вид оба такие интеллигентные...

– А у интеллигентных что, нос не на том месте... Ты, Антонина Петровна, будто не в коллективе живешь... Нехорошо!

– Да разве за всем уследишь?... Вот оно как? И все-таки мне её жалко.

– Ясно, жалко... Кого? – спохватилась Зинаида Павловна.

– Инну.

– Тьфу, – сплюнула она. – Нашла кого жалеть!

Судя по взглядам актрис, женщина, разговаривавшая с кем-то в гримёрке, и была Инной.

По коридору, грузно оседая на коротких ногах, шел Книга. Чуть впереди, изогнувшись и заглядывая ему снизу в лицо, трусила помощница режиссера. Не заметив, она врезалась на ходу в рыжего высокого артиста и даже не извинилась.

– Что-то у нас в театре перекособочило кое-кого с недавних пор, – громко проворчал рыжий, входя в зал.

– Ну-с, продолжим. – Глаза Книги, остановившись на Троицком, даже увлажнились от прилива чувств. – Кого мы ждем?

Троицкий вскочил и вышел на площадку. «Не уступлю! – решил он. – Ни за что!»

– Так. Что я должен делать?

– Хотя бы текст подавать партнерам своевременно, если не можете ничего другого.

– Вот как раз этого я делать не умею.

– Чего этого?

Книга был спокоен, даже лениво спокоен.

– Подавать реплики.

– Но ведь хоть чему-то вас должны были в институте научить?

Книга едва сдерживал улыбку, раздвигающую его дряблые бульдожьи щеки.

– Встаньте на колени, – начал объяснять Михаил Михайлович, – повяжите себе голову полотенцем, изображайте факира; Артемьева, подыграйте ему. Да нет, нет, Троицкий, не так, громче, радостней, смешнее. Её надо соблазнить, увлечь, заморочить голову. Шумите, дурачьтесь, пойте петухом. Выше берите, интонационно выше! Где ваша актерская заразительность? Ну, бодро-весело! Тесните её в угол. Чуть она зазевалась, хватайте её, старайтесь поцеловать, оглядывайтесь – никто вас не видит... Тискайте ее, тискайте, ну, бодро-весело... что? что вы там мямлите?

Троицкий, бледный, с трясущимися руками, вскочил с колен.

– Не буду я это делать.

– Будете, – спокойно заметил Михаил Михайлович.

– Нет, не буду.

Затаив дыхание, с явным удовольствием следили за ними актеры. Причем с двойным удовольствием: с одной стороны, это было забавное зрелище, в котором потешным выглядел и старый и малый, а с другой – ведь приятно, когда за многие годы безмолвного подчинения вдруг кто-то осмелился открыто взбунтоваться против Книги.

– Мы ждем, – невозмутимо постукивал по столу Михаил Михайлович. – Вас надо просить, чтобы... вы репетировали?

– Не надо.

– Тогда, пожалуйста... Ай-яй-яй-яй-яй-яй!

– Нет! Не буду я этого делать, Михал Михалыч! Можно, я вам покажу, как я хочу?

– Да что вы мне можете показать!

– В жизни...

– Меня не интересует, что бы вы делали в жизни. Здесь сцена, и делайте то, что я вас прошу.

– Если идти по правде...

– Это копеечная правда.

– Правда человеческих отношений не бывает копеечной. В «Современнике»...

– Я видел спектакли в «Современнике» – это пасквильные спектакли...

– Я так не думаю.

– А тут никого, что вы там думаете, не интересует. Мы *будем* работать?

– Что я должен делать?

Книга окаменел.

– Я не понимаю, – повторил Троицкий, глядя в налившееся кровью лицо режиссера. –

Покажите.

Мгновенье они молча смотрели друг на друга. Михаил Михайлович вскочил со своего места и, несмотря на внушительную толщину, легко выпорхнул на площадку. С полузакрытыми от умиления глазами шел он по сцене широким кругом, разведя в стороны руки. Поравнявшись с Артемьевой, он внезапно бросился перед нею на одно колено (казалось, что его хватил удар) и, сладко растягивая рот, запел нездоровым жизнерадостным голосом.

– Теперь поняли? – поднялся с колен Книга, красный, кряхтя и отдуваясь.

– Нет, не понял.

– Что вы не поняли? – уже не сдерживаясь, кричал он.

– Нас этому не учили.

– Какому черту вас там учили?

– Во всяком случае, не наигрывать...

– Сопляк!

– А вы мне не тыкайте, Михал Михалыч.

– Что? Делать то, что я требую! Понимаете – не понимаете! Делать! Я вам говорю! Мел!

Принесите мне мел!

Репетиция закончилась раньше времени... Взбешенный Михаил Михайлович, брызжа слюной и что-то бормоча себе под нос, ползал по полу, самолично вычерчивая для Троицкого круговые мизансцены. Его жена Зинаида Павловна, обычно подслушивавшая у дверей, тотчас же ворвалась в зал.

– И вы, – кричала она, обращаясь к актерам, – позволяете какому-то... доводить режиссера до инфаркта! Вы все его ненавидите, потому что он талантлив, потому что он говорит вам правду – кто чего стоит! Присосались к его славе, паразиты. Его к званию представили... что? Съели?

Последнее даже Михаилу Михайловичу показалось излишним, и он тяжело засопел. Кто-то из актеров хмыкнул, Фима помог Книге подняться с четверенек, помощница режиссера принесла стакан воды и валидол. Книга сделал несколько глотков, положил таблетку в рот и исчез вместе с женой в кабинете директора.

– И чего вы добились? – спросила Артемьева. – Теперь он всё сделает, чтобы вас сняли с роли.

– Ну, это мы еще посмотрим!..

– Хм, – вырвался у кого-то рядом короткий смешок.

Они уже были в коридоре. Троицкий оглянулся.

– В конце концов, – в запале продолжал говорить он, – почему я должен молчать, если из меня делают дурака? Не буду я молчать.

Глаза актеров провожали его с сочувственным интересом.

– Вы еще неопытны, вы очень неопытны... надо быть гибким...

– Быть гибким? Чтобы так согнули, что потом не разогнешься?

Артемьева не оглядывалась. Она хорошо знала, кто шел рядом, и была настороже.

– Снимут с роли? Пусть снимают. Так играть – лучше вообще не играть.

– Умник, – произнес Фима за спиной Троицкого.

В проходной было тесно. Освещали её лампы «дневного света»: одна над зеркалом, у которого любили толпиться актеры, другая – над столом дежурной, торцом стоявшем у стены.

– Артемьева, возьми письмо, – окликнула её дежурная.

– Ну, как? – хитровато улыбаясь, спросил Илья Иосифович, задержав в дверях Троицкого, – интересно было?

Троицкий молча смотрел ему в переносицу.

– Я вижу не очень.

Он оперся о палочку, и задумался. Вот сейчас, показалось Троицкому, придет спасение.

– Поговорите с Олегом, – предложил, наконец, Воронов, – это мой бывший очередной, едет куда-то *главным*, артисты ему нужны. Если сумеете уладить дела с министерством, он вас возьмет. Желаю успеха.

Воронов статно развернулся и помахал артистам ручкой.

– Муж скоро приедет, – сообщила всем Артемьева.

– Поздравляем.

Троицкий застрял в проходной. Никто не обращал на него внимания. Актеры, разобрав в гардеробе плащи, расходились по домам.

В гостиницу он вернулся поздно вечером.

– Долгонько, молодой человек, – услышал он, войдя в номер. – И где же это вы путешествуете?

Казалось, Юрмилов его только и ждал.

– В кино.

– Зря потраченное время. Я, молодой человек, в любом новом городе первым делом иду в поликлинику и завожу там знакомство. Это никогда не помешает. – И он засиял в предвкушении рассказа о собственных похождениях. – Записался я на прием, вхожу, «здравствуйте», и так далее, жалуясь на сердце – у меня врожденный порок. Она меня выслушала, покачала головой, ничего из себя такая, – я ей тут же и вворачиваю, что, мол, я артист и мне не положено иметь порочное сердце... Она поняла, улыбнулась, и тут пошел я заливать о своих несчастьях – не везет, мол, мне с женщинами, одинок я... В глазах вопрос, но молчит, слушает. Это уже неплохо. Продолжаю жаловаться: город незнакомый, желудок больной, пища ресторанный. Она и говорит: «Заходите, мол, как-нибудь, угощу домашней». Ну, я тут как тут. Обязательно, говорю, ловлю вас на слове. А бедра у неё...

– Зачем вам это всё? – Троицкий даже поморщился.

– Что значит, зачем? Я артист, – удивился вопросу Юрмилов, – у меня репетиции, спектакли... я не могу сам за собой ухаживать, а тут устроен, накормлен, лечение на дому, всё остальное... Зачем! Я... – он прервал себя на полуслове. – А твоя ничего, видел из вагона там, в Москве, как ты в неё вцепился. Жена?... Жаль, что далеко. Ну, ты не горюй. Была бы шея, а хомут...

Он зевнул, завернулся с головой в одеяло и очень скоро уснул.

Троицкий погасил верхний свет.

«Как я вас купил?» – вспомнил он хитроватое лицо Воронова. Значит, и так можно: наобещать, обмануть, и как ни в чем не бывало улыбаться, желать успеха... За окном светилась просторная площадь с памятником посередине и балюстрадой над обрывом. Что было внизу под балюстрадой, он видеть не мог. Но уже знал, что там, за лестничными маршами, начиналась дорога в театр с голубыми газетными киосками, двумя рядами автоматов газированной воды и кафе «Минутка» на углу. Теперь каждый день ему предстоит ходить этой дорогой – месяц, год, может, всю жизнь... Сердце заныло, и до смертной тоски захотелось в Москву.

Перед глазами опять уплывал перрон, фигурка Алёны вдалеке – и не было сил взглядом оторваться от неё. Страшно. Вот и конец. Она будет ему писать, поначалу часто, потом все реже и реже, и однажды замолчит навсегда. Он знал это – почему?

Глава вторая

IV

Здесь, в Н-ске, Троицкий просыпался рано, кутаясь в измятый пододеяльник, в котором одеяло сбивалось за ночь невообразимым комом. Затаившись, как рак под корягой, он подолгу обдумывал всё, что с ним случилось накануне, и заново переживал, мысленно выходя из всех стычек и споров победителем. Ровно в восемь на тумбочке у соседа тарактел будильник, слышалось кряхтение, сопение, позевывание, и Юрмилов кричал ему: «Эй, вставай, артист». Есть такие люди: если они проснулись, то все должны вставать; если им нездоровится, то весь мир пусть летит в тартарары.

– Слышал? Освобождаются комнаты. Давай договоримся: мы отказываемся, если будут предлагать комнату только одному из нас.

– Почему?

Юрмилов сладко зевнул, до ушей растягивая подвижный, будто резиновый, рот.

– Театр не будет из-за одного оплачивать двухместный номер. Значит, здешний администратор кого-нибудь подселит.

– Как это? Нет. Я с чужими жить не буду.

– Станут они спрашивать, поделят и всё. Так договорились?

Выйдя из гостиницы, Троицкий зашагал вниз по крутой асфальтированной дорожке к театру. Утренняя свежесть, пронизанная солнечными лучами, ударила в голову. Троицкий шел неторопливо, отдаваясь живому теплу осеннего солнца, чувствуя на лице его нежное прикосновение и замирая от едва ощутимой на лбу и щеках легкой тени, отбрасываемой деревьями.

Артемьева ждала его у дверей репетиционного зала.

– Посмотри туда.

Троицкий глянул в зал. В настежь раскрытые окна вместе с солнечным светом вливался пряный осенний воздух. В зале было прохладно и торжественно.

– Теперь ты понял? – спросила Артемьева.

– Нет, не понял, – чистосердечно признался Троицкий, – а что?

Она с сожалением покачала головой:

– Не слушаешь ты моих советов. А они не самые бредовые.

– Я слушаю, – беспечно ответил Троицкий, и улыбнулся. – Скажи, а кто это сидит у окна в светлом костюме?

– Это новый актер, – сдержанно ответила она, – первая ласточка Уфимцева.

Она еще что-то хотела добавить, но в это время вошел Книга. Он торжественно оглядел всех (по Троицкому его взгляд скользнул равнодушно, отрешенно) и пригласил актеров на площадку. Актеры встали. Встал и Троицкий. Встал и немолодой человек в светлом костюме. Троицкий устроился в кресле, как это требовалось по мизансцене, и развернул роль.

– Товарищи, – сказал Книга, глубоко вздохнув, чтобы унять одышку, – представляю вам нашего нового актера Горского Юрия Александровича. Надеюсь, что он быстро войдет в нашу актерскую семью. С сегодняшнего дня он будет репетировать в спектакле роль Андрея. В ближайшие дни сыграет несколько вводов. Актер он опытный, профессиональный, думаю, с ним наша работа пойдет веселее. А теперь приступим к репетиции.

– Троицкий, уступите место Юрию Александровичу, – мягко попросила помощница режиссера.

Троицкий встал, с трудом добравшись до свободного стула. Он будто оглох!

– В перерыве иди к директору, – шепнула Артемьева.

Юрий Александрович поначалу робко, но затем все смелее и смелее закатывал глаза и нежным голосом (он оказался у него сладким, как у лирического тенора) напевал что-то своей партнерше. Всё встало на свои места. Репетиция покатила по раз и навсегда проторенному руслу...

В перерыве Артемьева повторила Троицкому: – Иди к директору. Он хоть и не очень любит вмешиваться, но... Ты молодой специалист, приехал в свой первый театр. Назначить другого актера в первый состав они могут, но не дать тебе сыграть во втором – нет.

– Не имеют права. Я же не отказался от роли, кто мне может...

– Иди – дружески подтолкнула его Артемьева, – и будь настойчив, пока тебе не всучили что-нибудь другое в этой же пьесе. А там производственная необходимость...

На мгновение взгляд Троицкого вырвался из паркетной решетки натертого до блеска пола и уперся в сползший на колени живот Книги. Всё поплыло и задвигалось перед ним.

Директор сидел за столом, подперев подбородок кулаками, и смотрел в окно. Заметив Троицкого, он вздрогнул и тотчас же выпрямился.

– Вы ко мне?

– Да.

– Садитесь, – кивнул директор. – Вам выдали подъемные? – поинтересовался он, уже готовый тут же звонить в бухгалтерию.

– Да, Игнатий Львович, спасибо, – поблагодарил Троицкий.

– А билет вам оплатили?

– Да. Но...

Троицкий даже привстал в кресле от нетерпения.

– Комнату получите, как только у нас что-нибудь освободится. Еще не все актеры уехали. Мы... понимаете, не можем их выставить на улицу. А через месяц театр должен получить несколько квартир... Я лично этим занимаюсь, так что... Мы о вас помним.

– Я, собственно, к вам по...

– Минуточку.

Он обезоруживающе улыбнулся, и поднял трубку. Звонил междугородный.

– Ждем, ждем, – быстро бросал он в трубку слова, – как же, готово. Конечно, сделаем... приступил, приступили...

Игнатий Львович не прижимал трубку к уху, а держал её на расстоянии, мучительно прислушиваясь к дребезжанию мембраны. Его лицо выражало болезненное напряжение. Он бросал в трубку слова, как в бездонную шахту, и тотчас же шараялся от неё. Бросит слово и отшатнется. Опасливо приблизится ухом, когда в трубке заговорят тише, и тут же качнется в сторону, потому что там кто-то повысил голос.

Закончив разговор, Игнатий Львович бережно опустил трубку на рычаг и снова повернулся к Троицкому с вежливой улыбкой, означавшей: «Так-с, молодой человек, вы ко мне?»

– Игнатий Львович, я к вам пришел...

Директор встрепенулся, лицо его в секунду поменяло несколько выражений, а взгляд спасительно рванулся к двери, но, перехваченный Троицким, забегал по столу.

– Я к вам пришел, чтобы мне объяснили, что происходит...

– А что происходит? – настороженно поинтересовался Игнатий Львович. – Ничего не происходит.

– Меня что, сняли с роли?

– С какой роли?

Игнатий Львович снова рванулся взглядом к спасительной двери.

– Я был назначен...

– Ах да, помню. Вот подъехал еще один актер... это с Уфимцевым, понимаете? – вдруг понизил он голос, – нашим новым *главным*. Вас обоих назначили и... Я не вижу повода для беспокойства.

– Значит, я не снят с роли?

– Что вы, ни в коем случае, нет.

– Значит, мы репетируем в очередь, сегодня он, завтра я?

– Да-да, в порядке очереди. Идите, репетируйте, и не волнуйтесь.

И уже в самую последнюю минуту, когда Троицкий открывал дверь, Игнатий Львович вдруг, как бы вынырнув из глубины собственной невозмутимости, бросил на него запоздало строгий взгляд, может, даже что-то хотел сказать – что-то очень важное, выстраданное, но, натолкнувшись на вопросительно обращенные к нему глаза Троицкого, передумал.

От одного вида опустевшего коридора у Троицкого со школьных лет обрывалось сердце. Опоздал! Он бросился к репзалу, на секунду замешкался у двери, подавив в себе то ли детский страх, то ли оторопь перед неминуемыми любопытными взглядами, рванул дверь на себя. Актеры были на площадке. Юрий Александрович непринужденно сидел в кресле. Он быстро освоился. Книга, по-видимому, им довольный, помягчал, и только спросил Троицкого:

– А вам что, молодой человек, особое приглашение?

– Простите, я был у директора, – вежливо, но внятно сказал Троицкий.

Что-то тут же сместилось в лице Книги. Оно оставалось прежним, его лицом, но расположение впадин и выпуклостей уже стало другим. На Троицкого он больше ни разу не взглянул до конца репетиции.

– Был у нас тоже один, – услышал Троицкий у себя за спиной голос Фимы, – ходил, ходил к директору... потом взял да и выпрыгнул в окно.

В коридоре его догнала Артемьева.

– Хочешь, вместе пойдем обедать? Подождешь меня минутку. – И Галя исчезла.

– Вы только не падайте духом. – Прямо на Троицкого шел огромный рыжий актер. – Вы молодец, говорю вам это со всей откровенностью, очень вас понимаю. Так держать.

Он пожал ему руку и прошел мимо.

В актерской проходной большое зеркало отражало скорбную фигуру дежурной, склонившуюся над книгой. «Самый образованный человек в театре», – острили актеры.

– Ваша фамилия Троицкий? – услышал он. – Вам письмо.

По почерку понял: письмо от Алены. Машинально надорвал уголок, но рука не послушалась и не вскрыла конверт до конца. Троицкий спрятал письмо. Галя не шла, а топтаться на виду у всех было неприятно и стыдно. Бог знает, откуда берется стыд у человека, когда его незаслуженно унизили. За кого ему стыдно?

– А что ж вы не идете домой? – спросила дежурная.

– Далеко идти, – пробормотал он, заметив, наконец, Артемьеву.

– Забежала к директору на минутку, и как видишь. Есть хочу – умираю... Уже неделю хожу к нему, – делилась она своей неудачей, – прошу для мужа место администратора... есть у них свободное, я знаю... объясняю, что так больше жить не могу – я здесь, он там...

Троицкий вспомнил квадратного мужчину в буфете гостиницы в день приезда.

– Всё обещает, – жаловалась она. – Когда к нему ни зайдешь, он, ни слова не говоря, тут же хватается за телефон и звонит в управление. Но там никогда никого не бывает. Мне кажется, что оно просто миф, и выдуманно дирекцией для таких простофиль, как я.

V

Войдя в зал ресторана, они слышали категоричное: «Не обслуживаем, у нас обед». Официантки кружком сидели за столом, вытянув ноги, и что-то оживленно обсуждали. Тут бы сост-

речь, пройтись колесом, прикинуться Ивашкой-дурашкой, своим в доску – глядишь, и смягчилось бы заплывшее жиром сердце официантки. Но от одной мысли об этом Троицкий почувствовал такую душевную усталость, что не шевельнул бы и пальцем, даже если бы его попытались вытолкать из ресторана в шею.

Артемьева оглядела зал, не обратив внимания на предупреждение официанток, и направилась мимо необрушенных столиков к балконной двери. Там в одиночестве обедала молодая женщина. «Я её знаю. Она мне знакома», – радостно подумал он.

– Здравствуй, Инна, – приветливо поздоровалась Артемьева. – Садись, Сережа, сейчас нас обслужат... Вы не знакомы? – спросила Галя, заметив, что они, поздоровавшись, с любопытством разглядывают друг друга. – Это, Инночка, наш новый актер. Уже у всех на устах в нашем театре. Отнюдь не Книголюб.

– Я знаю. Мне рассказывали...

– Я и не сомневалась, – расхохоталась Галя, – его имя наверняка будет вписано в анналы театра. А это Инна Ланская, наша ведущая актриса.

– Я тоже вас знаю. Вернее, слышал...

Она спокойно выдержала его взгляд, и спросила:

– Что же вы слышали?

Чернота её зрачков была ослепительна.

– Кто бы, что бы ни говорил, – заметила Ланская, не дожидаясь ответа, – вы ни о ком не услышите от них правды. Если их слова и характеризуют кого-то, то, скорее, их самих. Таня, – позвала она одну из официанток, – сколько с меня? И покорми, пожалуйста, наших голодающих, им скоро опять на репетицию.

Подкрасив губы, Ланская простилась и ушла.

– Молодец она, – с завистью смотрела ей вслед Артемьева, – уважаю таких женщин. Надо уметь держаться в любых обстоятельствах. А я не умею, и страдаю за это... Звание дать ей хотели, но теперь управление её документы придержало. Красивая, умная, талантливая актриса, влюбилась в «старый пень», которому грош цена в базарный день, терпит унижения, репутацию испортила... И замуж за него готова пойти, если б ему развод дали.

Галя взяла из рук официантки тарелку с солянкой, похлебала жидкость, и отставила её в сторону.

– А я, если б заранее знала, что это такое, никогда бы замуж не вышла. Два года прожила с мужем. Измучил он меня своими подозрениями, всю мне меня объяснил, и выхожу я, Сережа, по его мнению, гадина гадиной. Ну, как ему, беденькому, с такой жить? А ты не женат?

Троицкий отрицательно покачал головой.

– И не делай этой глупости. А то попадетсЯ тебе такая, как я, например. Сколько ты ей ни будешь вдалбливать, что она дрянь и недостойна тебя, и что ты один за её счастье бьешься, она всё равно своим умом будет жить. Наплачешься тогда... Нет, будь я сейчас свободна, ни за что бы замуж не вышла.

– А зачем? – спросил он угрюмо, будто у себя самого.

– Что зачем? Замуж? – Галя даже не нашлась сразу, что ему ответить. – А любовь? А семья?

– Если любовь, при чем тут семья? – сказал он вдруг резко, с ожесточением.

– Значит, по-твоему, семья не нужна?

– А зачем она?

– Как же – семья!

– Государству выгодно, чтобы ты был свободен и со всеми потрохами занят в производстве, а не забивался в свой семейный мирок. Тем более, что все мы – одна семья, – сострил он опять с непонятным ей ожесточением.

Пообедав, они вышли на площадь и, дойдя до балюстрады, венчавшей каскад пересохших фонтанов, остановились.

– Сейчас мне пишет, что я нарочно якобы ничего не делаю, чтобы устроить его здесь на работу. Будто бы для того, чтобы одной здесь развлекаться... А какие у нас развлечения – репетиции да сплетни, а скоро начнутся выездные... А тут дороги ужасные... Чувствуешь, листья жгут?

Галя втянула в себя горьковатый воздух и закрыла от удовольствия глаза.

– Что ты намерен делать?

– Ничего. Ждать *главного*.

– *Главный* не будет из-за тебя ссориться с Книгой. Слушайся меня, иначе так и останешься для них смутьяном. А таких не любят. Здесь не принято, чтобы молодой артист имел свое мнение. Всегда найдутся такие... и очень уважаемые режиссеры, для которых отсутствие личного мнения является признаком твоей профпригодности...

– Снимет с роли? Пусть! Но Михал Михалыч это еще не весь театр. Актеры...

– Они не поддержат. Не обольщайся. Посочувствуют, да. Но это так сладко – сочувствовать чужому унижению.

– А я не считаю себя униженным. У Книги свой взгляд на роль, у меня свой. Ему нужен обаятельный прощелыга, мне – живой человек. Это нормальная здоровая борьба, и я в ней не уступлю.

– Он режиссер...

– А я актер, и отвечаю за то, что делаю в спектакле не меньше его, а может, и больше. И так пьеса плохая, а если Андрея играть безмозглой куклой, то спектакль совсем превратится в дохлую болтовню о том, чего мы не имеем, и чего иметь не будем, потому что трусы.

– У тебя и самомнение, – усмехнулась Артемьева

Троицкий покраснел.

– Мне можно, я молодой специалист. Слышите, хоть и молодой, но специалист!

– Эту пьесу, Сережа, никакой специалист, даже молодой, не оживит.

– Неправда. – И он завелся, а когда нервничал, вид у него был взъерошенный. – И одна роль в спектакле может всё повернуть... конечно, как её сыграть. Скажем, *Карандышев*...

– Ну, сравнил воробья с орлом. У Островского...

– ...или это разгулявшееся ничтожество, или изгой, защищающий своё достоинство человека... Другое дело, перед кем? Правда, обыватель в то время еще не читал «Капитала», и для них *Кнуров*, *Паратов* – это всё уважаемые в городе люди...

– Не даст он тебе сыграть по-своему.

– Не даст? Посмотрим.

Галя пожала плечами, сказав не без ехидства:

– Еще один объявился.

– Что это значит? – насторожился Троицкий. – Почему здесь все говорят: «Еще один появился?»

– А тут несколько лет назад актриса роль просила, ей отказали. Она режиссеру и говорит: «Вы за это заплатите». Поднялась на колосники и бросилась оттуда. От тебя, между прочим, ждут того же.

– Не дождутся. Пусть Михал Михалыч от меня на колосники лезет. Только я слышал, что актер в окно выпрыгнул...

– Я пошла, – махнула рукой Артемьева, – между прочим, обиделась на тебя. Но... чем бы дитя ни тешилось. Только, в самом деле, не выпрыгни в окно.

– Я не обезьяна, из окон не прыгаю и по колосникам не лазаю.

Галя с сожалением посмотрела на него.

– Пока еще у тебя на глазах московский флёр... Потерпи, и ты запрыгаешь.

– Опять? – Троицкий даже мотнул головой. – Мода это у вас или слабонервные такие?
– Да оглянись, Троицкий, посмотри, где ты.

– Смотрю, – с готовностью откликнулся он, медленно поворачиваясь вокруг себя. – Красиво! – И он показал туда, где, огибая холм, скрывалась за городом река. Там, внизу, по руслу реки, под темною громадою туч раскаленной болванкой зависло над горизонтом солнце, пылая густым малиновым светом. – Красиво, да?

– Наверное, опять зарядит дождь, – ежась, вздохнула Артемьева. – А в дождь здесь противно... как в бане, когда отключат горячую воду.

– А-а-а, я понял, в чем дело. Ты пессимистка.

– Просто я здесь уже третий год... Как приехала сюда, так и сижу на вещах, и всё кажется, что завтра уезжать. Не веришь?

– Ну, почему, – запротестовал Троицкий, – верю.

Что-то похожее он сам испытал в первый день. И не только из-за собственной неустроенности, но в самом облике города, в его старинных улицах, прореженных панельными домами, которые, как чужаки, стояли среди небранного строительного хлама, было что-то вокзальное.

– Хочу в Москву, – вдруг вырвалось у Артемьевой

– Я тоже хочу.

– Хотеть мы можем, – усмехнулась она.

– Что же нам мешает?

Артемьева кивнула на город:

– Вот он!

– Всё отговорки. Мы сами себе их придумываем, – убежденно сказал Троицкий. – Если бы действительно очень захотели...

– Сами? – вдруг вспыхнула Артемьева. – Так езжай. Ты же хочешь? Иди на вокзал, бери билет и...

Троицкий даже приостановился в замешательстве. А если действительно съездить? А что? Так соблазнительно... И завтра – Москва. Неужели утром он пройдет по московским улицам, увидит Алену, ребят, общежитие? Нет, в это трудно поверить. Даже волнения не чувствовалось, такой невероятной представлялась ему эта поездка. Будто жил он не в шестистах километрах от Москвы, а на Луне, и уехал не две недели назад, а провел здесь уже долгие годы, может быть, целую жизнь. Но... во-первых, у него нет денег, где их взять? А театр? Все бросить, уехать? Чёрт с ним, с выговором, но Книга... Увидеть его торжествующий взгляд: «А что я вам говорил».

– Успокойся, я пошутила. Ты спросил, что мешает: у каждого что-нибудь да есть.

В номере стоял тяжелый банный дух. Юрмилов спал, развесив на стульях выстиранное белье. Троицкий не выносил его гладкий, как облупленное яйцо, лысоватый лоб, походку, отмеченную какой-то скрытой настороженностью, будто ступал он в гололедицу, его манеру гадливо захватывать ручку двери. Стараясь возвращаться в номер позже Юрмилова, он нарочно не зажигал свет, чтобы нечаянно не разбудить его, спящего с задраным кверху носом, умильно улыбавшегося во сне, при этом его аккуратненькое лицо всегда было исполнено особой важности от сознания (как бы он сам выразился) происходящего с ним «акта сна». И если с утра не удавалось первым улизнуть из номера, Троицкий лежал и ждал, когда Юрмилов смилостивится над ним и сам уйдет. Даже сейчас, когда он собрался сесть к столу, чтобы написать Алене письмо, влажные штопаные носки Юрмилова как провокация или вызов свисали по краям.

Разгладив вчетверо сложенный лист бумаги, он вытащил ручку, и задумался. Москва подступала к нему привычным вечерним гулом, обкладывая со всех сторон мигающими светофорами, огнями рекламы и люминесцентными вывесками... «Стоп! – сказал он себе, – изыди Сатана». «В Москву, в Москву, – кричали в нем «три сестры», и военный оркестр весело играл

по нему марш Шопена. Изжогой жгло желание немедля удрать в Москву. Да, удрать! Он признавал, что поездка в Москву, подразнивавшая своей реальностью, поощряла в нем труса. «Вот именно, – сказал он вслух, – сбежать и сыграть труса, разве ни одно и то же?» «...Неужели, Алена, это кончилось? – уже строчил он в письме. – Мне говорят: «Ты нужен, поскольку ты удобен». Никогда с этим не примирюсь, Обстоятельства ничто в сравнении с человеком, с его убеждениями, с его чувствами и желаниями. Ты пишешь, что вымучила это письмо, прошу тебя, вымучивай еще. Пиши, как можно больше, и как можно чаще. В эти минуты мы думаем друг о друге, и эти минуты наши – как это много!».

Глава третья

VI

Артемьева остановилась, поджидая Троицкого.

– Скорее, Сережа, мы опаздываем.

Она подхватила его под руку и потащила к театру.

– Жаль, что ты не поехал вчера со мной. Я бы познакомила тебя с классным режиссером.

Так ты не сделаешь карьеру. Надо слушать старших.

– А я слушаю...

Артемьева скривилась и недоверчиво покачала головой:

– Что-то незаметно.

В проходной она спросила у дежурной, не было ли ей телеграммы.

– Если будет, найдите меня. Это очень важно – муж должен приехать.

Почти все актеры собрались в зале, только несколько заядлых курильщиков еще торопливо докуривали в дверях сигареты, кашляя от глубоких затяжек и обжигая кончики пальцев.

– Чем ты намерен заняться вечером? – поинтересовалась Артемьева.

Троицкий пожал плечами.

– Идем к нам в общежитие. Сегодня Олег уезжает. Тебе не мешает это знакомство... на будущее. Да?

Их места в простенке рядом с дверью были заняты, пришлось садиться на свободные.

– Сережа... вы мне позволите вас так называть?

По светлым брюкам, туго обтягивавшим женские ляжки, Троицкий, не поднимая головы, догадался, что перед ним стоял Юрий Александрович.

– Мне бы хотелось сказать вам несколько слов, – чопорно начал Горский.

Сидевшие неподалеку актеры с любопытством прислушались. Кто-то, подсуетившись, перебрался к ним поближе. Троицкий встал.

– Ваши чувства, – продолжал Юрий Александрович, – мне понятны. Но если вам трудно поддерживать хотя бы внешние приличия...

Троицкий с недоумением слушал его. Каким же старым было это лицо. Он даже растерялся при виде морщин, прорезавших белую рыхлую кожу Горского, только губы подвижные и резко очерченные, выглядели ещё молодыми.

– Я совсем не требую, чтобы вы со мной здоровались...

– А я разве с вами не поздоровался?

– Да, не поздоровались, – мягко упрекнул его Юрий Александрович. «Ты ненавидишь меня», – говорил Троицкому его сочувствующий взгляд.

«Нет! – хотелось ему крикнуть в ответ, – нет у меня к вам ненависти». Но по какой-то неписаной традиции он должен был его ненавидеть. Он заметил, что все от него этого ждали, в его словах и поступках искали это чувство – и находили, не осуждая, а соболезнуя. Что ж ему теперь, обниматься с Юрием Александровичем, чтобы их разуверить? «Будь проклята моя рассеянность», – ругал себя Троицкий. И когда в зал вошел Книга, он, поздоровавшись, вдруг улыбнулся ему, просто так, от злости на себя. Тот холодно пробурчал что-то в ответ и подозрительно оглядел всех. Троицкий почувствовал, в какое замешательство привела Книгу его улыбка. Михаил Михайлович рыскал по залу встревоженным взглядом, будто высматривая кого-то, и, отыскав Юрия Александровича, довольный порозовел.

– Вы, я слышал, жаловаться ходили, – он повернулся к Троицкому. – Это я вам говорю, – хмуро кивнул он, сделав упор на слове «вам». – Вы бы задумались лучше, куда пришли. Пока

с вами работать нельзя. – Книга сделал нажим на слове «нельзя». – Гонору много, а умения пшик. – Он переждал одобрительный смешок Фимы и устало кивнул: – Ну, идите, репетируйте. Посмотрим, что вы можете.

– Попрошу всех на площадку, – скомандовала Клара Степановна из своего угла.

Троицкий чувствовал себя так, будто его вдруг, как подопытного кролика, окунули в прорубь и, вытащив на мороз, с интересом наблюдают, что с ним будет дальше.

– Сейчас начнем с общей сцены. Рассаживайтесь. Артемьева, что вы не знаете? Эту сцену мы репетировали в прошлом сезоне достаточно, чтобы её знать... Вы в центре, вы справа от нее, а вы... Ну, прошу, начнем. А что это вы, Троицкий, с ролью, и текст не выучили?

– Но, Михал Михалыч, я ни разу... в этой сцене...

Глаза у Книги сузились, сделавшись как две колючки.

– Вы будете работать? – холодно спросил он.

– Буду, – зло ответил Троицкий и спрятал листок с текстом в карман.

Дальше всё было разыграно умело, как по сценарию.

– Я вижу, вы сегодня не готовы к работе, – остановил репетицию Книга, недовольный тем, что Троицкий произносил свои реплики под суфлера. – Лучше бы роль учили, вместо того, чтобы бегать по кабинетам. Доказывайте нам здесь, на площадке, если...

– Я знаю текст... в тех сценах, которые мы с вами разбирали. Эту я прохожу в первый раз...

– Почему же остальные знают?

– Мы же её репетировали, Михал Михалыч, в прошлом сезоне, – вступилась Артемьева.

– А если репетировали, то сыграйте мне, а не жуйте текст. В чем смысл вашей работы над текстом роли? Вы должны найти в каждой фразе главное слово, так сказать, её нарыв, к которому притягиваются остальные в силу болевого импульса. Вот вы, – он указал на Троицкого, – какое слово в вашей фразе может быть таким нарывом?

– Я не знаю.

– Вы что, не понимаете, о чем я вас спрашиваю?

– Не понимаю.

– Юрий Александрович, а вам понятен мой вопрос?

– Да, Михал Михалыч.

– Вы, – ткнул Книга пальцем в Троицкого, – или неуч, или злостный саботажник. Прочтите эту фразу еще раз.

Троицкий прочитал.

– Я не просил вас читать. То, что вы умеете читать, я уже понял.

– Что же вы хотите?

– Осмысленной речи, – взревел Михаил Михайлович. – Вы бессмысленно болтаете слова, вы ничего не можете, рано вам еще выходить на сцену в такой роли. Плохо вас там учили в Москве. Может быть, вы и способны, но плохо обучены. Я отказываюсь тратить на вас время. Мы выпускаем этот спектакль к дате. Освободите площадку. А вы, Юрий Александрович, – решительно махнул он рукой, – прошу вас, займите его место.

– Здорово он тебя уничтожил, класс, – внятно сказал Рустам.

Троицкий долго не мог выбраться из-за стола. Наконец, кое-как отодвинув стул, вышел в коридор, лопатками чувствуя на себе взгляды актеров, проскочил мимо дежурной, склонившейся над книгой, и толкнул дверь на улицу. «Собрать сейчас вещи и вечером в Москву». Навсегда – от этих козней, Михаила Михайловича, всей этой камарильи... «Они думают, – всё спорил он с кем-то, – что знают *что-то*, что мне неизвестно». Он вздохнул и зло подумал: «Выучились, как обезьяны, по звонку кидаться к кормушке и вопить дурными голосами». Это кричала в нём боль, но он не находил слов, чтобы её заглушить...

Неспешно шествовали мимо прохожие, проносились машины. Щурясь, смотрел он на нежаркое осеннее солнце... Хлопнула дверь.

– Сережа, – обрадовалась Артемьева. – Какой же ты молодец, что дождался меня. Сегодня идём к нам на прощальный банкет... Олег устраивает.

Она взяла его под руку.

– Да, тебе грозит выговор за самовольный уход с репетиции. Это уж они для тебя сделают. Арик Аборигенович еще не представился?

– А кто это?

– Боже мой, значит, ты еще невинен. Арик Аборигенович заведующий труппой. Наверное, мается уже, горемычный, в хоромах репконторы, ждет не дождется тебя с объяснительной запиской.

– Он что, татарин?

– Почему? Ах, нет. Вообще-то папу его звали как-то по-другому, но в театре уже никто не помнит – *как*. Все его испокон веку зовут Арик Аборигенович. Он откликается. Ладно, у нас еще будет время поговорить о нём. Я очень голодна.

После обеда она потащила его в химчистку. Из химчистки они зашли в магазин. Оттуда в прачечную. Из прачечной в библиотеку. Из библиотеки в Дом культуры, где Артемьева вела кружок, и уже оттуда, когда совсем стемнело, поехали в общежитие.

VII

Общежитие находилось в «хрущобе» прямо против железнодорожного вокзала. Когда-то к вокзалу примыкал целый район частных построек – с садами, огородами, пыльными узенькими улочками и курами на проезжей части. Теперь дома снесли вместе с яблоневыми и вишневыми деревьями, кустами сирени в палисадниках и старыми тополями, пылившими весной цепким белым пухом, и понастроили на открытой площадке серые пятиэтажные коробки, вперемежку поставленные друг к дружке фасадами или торцами.

– Хорошо здесь, – огляделся Троицкий, – вокзал рядом.

– Ну, тебе рано об этом думать, – услышал он в темном подъезде голос Артемьевой. – Три года по распределению ты здесь обязан отработать. Это я уже могу собирать вещи и бежать...

– Три года? – ужаснулся Троицкий. – Ни за что! Вот дождусь *главного*, а там...

Артемьева засмеялась.

– А там... те же три года и еще тридцать три – и пенсия.

Дверь квартиры была незапертой. Узел с постелью, коробки, чемоданы, лыжи загромождали коридор.

– Ну, ты, старая, где тебя носит?

На пороге одной из комнат стоял мужчина невысокого роста с темным землистым лицом.

– Олег, познакомься. – Галя обернулась, пропуская Троицкого вперед. – Это Сергей Троицкий. Ну... я рассказывала.

Олег нервно шурил колючие глаза. Он так смотрел на Троицкого, будто тот пришел наниматься к нему на работу.

– Это ты, говорят, затравил Мих-Миха? Зачем старика нервидуешь?

– Я только спросил...

– Спросил! – выдохнул Олег. – И говорит – *«только»*, изувер.

– Если бы только *спросил*, – подхватила Артемьева. – Он в первый же день при первой же встрече бухнул Мих-Миху с ходу прямым текстом: «Отпустите, раз Воронов уезжает». У того язык отнялся. Илья Иосифович стоял рядом и тихо веселился.

– Двуличный он, ваш Илья Иосифович.

– Олешка, кто там? – выглянула из комнаты пышная блондинка с жирно подведенными глазами и наклеенными ресницами. – Познакомь меня. Я Паша, – представилась она Троицкому.

Олег вдруг резко обернулся и, напрягшись, грубо сказал:

– Не лезь, когда я занят, поняла?

Паша осеклась, беспомощно заморгала, и по щекам её поползли черные слезы.

– Ну ладно, ладно, – уже дружелюбно похлопал он её по крутой заднице. – Вот Галка привела показать нам героя. Представляешь, не хочет работать с Мих-Михом, отпустите, говорит, я к Воронову ехал? Это при Мих-Миховской-то мании величия... Запомни, – повернулся он к Троицкому, – от Книги артисты не уходят, он их изгоняет... Ну, пошли, присядем на дорожку, время уже на вокзал ехать.

В комнате Олега в одиночестве сидел парень лет под тридцать. Когда все вошли, он молча поднял голову, морщась в резком свете электрической лампочки, низко висевшей на длинном шнуре.

– Он хотел Мих-Миху *объяснить*, – показывая парню на Троицкого, не мог успокоиться Олег. – Уникум. Да разговаривать с Книгой всё равно, что беседовать с фельдфебелем о «категорическом императиве», у того в мозгу всё равно будет сидеть одно: «А не посягает он этим на мой авторитет?»

– Я сварила глинтвейн, – объявила Паша, – закуска бедная, но... чем богаты.

Она разлила по чашкам горячее вино, в котором плавали кусочки яблока и ягоды рябины. Галя подсунула Троицкому кружок колбасы.

– Ну, за этот дом и за всё хорошее и плохое, что мы в нем оставляем, – сказал растроганный Олег, и его омрачившиеся глаза влажно блеснули.

Говорили мало, торопились на поезд. Паша вертелась возле Олега, ревниво следя за тем, чтобы он ел, зажигая спичку, когда тот брал сигарету, и всё старалась изловчиться и подсунуть под него одеяло, чтобы ему было мягче сидеть.

– А это кто? – шепнул Троицкий на ухо Артемьевой, глядя на незнакомого парня.

– Вот так-так, – изумилась она, – я вас не познакомила... Это Сеня Вольхин, наш артист.

– Грусть наша, – демонстративно обнял его Олег, заметив, что Вольхин, смущаясь, опустил голову. – Не красней, дурило, артист ты вó какой! Не гнись тут перед всякими, им еще до тебя тянуться и тянуться, пусть знают!..

Потом всей компанией двинулись на вокзал.

Олег с Артемьевой шел впереди в расстегнутом плаще, и что-то долго и настойчиво ей внушал. Будучи ниже её чуть ли ни на голову, он, чтобы дотянуться к её уху, неловко закидывал руку ей на плечо. Сзади тащились с его вещами Троицкий и Вольхин. Паша торговалась со старушками, покупая яблоки *Олешке* в дорогу.

На платформе все встали в кружок, топчя черные короткие тени.

При входе на перрон запыхавшаяся женщина высматривала кого-то в толпе пассажиров

– Инна, мы здесь! – радостно окликнул её Вольхин.

– Олег Андреич, боялась, что опоздаю. Я тут вам принесла... (Инна раскрыла сумочку, достала завернутый в бумагу сверток.) кое-что на память о «Ревизоре», никогда не забуду, как мне хорошо с вами работалось... Тут пустяк: амулет и сборник стихов Цветаевой.

Польщенный, Олег небрежно засунул сверток к себе в сумку и, подхватив Инну под руку, потащил её по платформе, что-то оживленно обсуждая.

– Видела? – спросила у Артемьевой потрясенная Паша. – Нет, ты видела? «Цветаеву» принесла... и не надо, не говори мне ничего, – вдруг взорвалась она, – ненавижу баб, которые к чужим мужикам лезут...

– Дрянь ты, Паша. Это я любя тебе говорю. Если хочешь знать, мы с ним о тебе разговаривали.

– Обо мне? А что он говорил обо мне? – тут же вцепилась в нее Паша. – Нет, теперь ты мне скажи, что он обо мне говорил? – и она силой уволокла Артемьеву к мутным желтым окнам вокзала.

– Замучает Галку, – хмуро проворчал Вольхин, не теряя из виду застывшие в конце платформы фигуры – Олега и Инны.

Наконец, послышался щелчок в громкоговорителе, и резким металлическим голосом объявили о прибытии поезда.

– Олег! – закричала Паша. – Поезд! – И помахала ему. – Скорей. – Она не удержалась и побежала ему навстречу. – Ну, идем же, опоздаешь, – схватила она его за руку.

– Подумай над моим предложением, Инна. Я всё сказал, – закончил Олег, и только после этого повернулся к Паше: – Ну, чего тебе?

– Олечка... поешь перед сном, не забудь, у тебя язва, еда в целлофановом пакете, понял? Остальной багаж я отправлю, ребята помогут, как только ты напишешь...

– Всё, понял, – прервал он Пашу, – эх, не хочется мне с вами расставаться...

Он простился с Инной. Потом подошел к Гале, обнял её.

– А ты, грусть наша, – повернулся Олег к Вольхину, – что молчишь? Поехал бы со мной?

Сеня вдруг занервничал, задергал головой, будто сгоняя с лица муху, и стал, заикаясь, быстро говорить, что поехал бы хоть сегодня, но жена...

– Вот все вы так, – тяжело вздохнул режиссер, – за вас всё отдашь, а когда от артиста что-нибудь нужно – он в кусты.

– Да я, нет...

– Ладно, – безнадежно махнул рукой Олег, – артист ты хороший, но поймей в виду – никогда из тебя толку не выйдет, если будешь таким слюнтяем, пропадешь здесь. – И он потянулся к нему, мол: «иди же, дурак, и с тобой хочу проститься».

Троицкому он официально пожал руку.

И уже в последнюю минуту, когда все вещи были в вагоне, Олег поцеловал в губы сомлевающую от благодарности Пашу, и сразу же её оттолкнул.

– Ладно, не реви. Я бы всех вас забрал с собой, – широко раскинул он руки, – но... меня убьют и местный и тамошний директора. Особенно Игнатий Львович. Он и так целыми днями ходил за мной по театру и канючил, чтобы я не сманивал актеров. А что, мало мы ему с Вороновым наприглашали на этот случай!

Просипел гудок. Дернулся состав. Олег вскочил на подножку, влез в вагон, где его оттирала от двери рослая проводница, и, выглядывая из-за её плеча, тянул изо всех сил шею, чтобы ещё раз дать им возможность насмотреться на него.

Троицкий почувствовал, как скребет у него на душе, будто это уходил его поезд, а он замешкался, и может на него опоздать.

– Всё, уехал, – с облегчением вздохнула Артемьева, а Паша закрылась накидкой и заплакала.

– Ах, жаль, выпить у нас нечего, – простонала Паша, – всё бухнула в глинтвейн...

– Тут ресторан еще открыт, – заикнулся Вольхин.

– Инночка, идем к нам, – уговаривала Галя.

Темное пальто Инны было расстегнуто. Она машинально то повязывала, то распускала на шее легкий газовый шарфик.

Артемьева держалась возле Троицкого. Он с удовольствием ощущал её мягкую кисть, невольно цеплявшую его при ходьбе. Они встретились глазами, и Галя предложила:

– Мальчики, может быть, правда, купим бутылку водки и к нам. Сережа, не возьмишь это на себя?

Не раздумывая, Троицкий бросился к ресторану.

– Догоняй нас, – крикнула ему вслед Артемьева.

Ресторан уже закрывался. За неубранными столиками официантки, подсчитывали выручку. Уборщицы, сдвигая столы, укладывали на них стулья вверх ножками, а музыканты торопливо собирали инструменты и исчезали за дверью буфета. Вслед за ними метнулся туда и Троицкий. Буфетчица тоже собралась уходить, выглядела мрачной и нездоровой, но водку Троицкому отпустила.

На привокальной площади он услышал далекие голоса, звавшие его из темноты, и когда догнал их, обнаружил, что Инны среди них уже не было. У неё разболелась голова, и она уехала домой.

В квартире все двери, кроме одной – в комнату Артемьевой, были раскрыты настежь. Всюду горел свет: в коридоре, на кухне. Паша, увидев пустой комнату Олега, снова сморщилась и заревела.

– Ну, что ты, успокойся, – обняла её за плечи Артемьева.

– Не могу я, понимаешь, так хорошо мы тут жили... три года... все вместе, у меня такое чувство, что никогда больше этого не будет...

– Да брось ты распускаться... Ну, уехал, устроится, поедешь и ты.

– Угу. А ты заметила, стоило только Илье Иосифовичу уйти, как дежурные к телефону не зовут, костюмеров пришить пуговицу не допросишься. Клянчила аванс в бухгалтерии рублей тридцать... Олежке в дорогу надо было купить кое-что... не дали, и еще нахамили. А раньше... разве б посмели?

– Посмотрим, кто такой этот Уфимцев, – обронила Артемьева.

– А это уже точно, что *он*?

– Говорят... Пойду, поставлю чайник.

– Нет, зачем она приходила? – не могла успокоиться Паша. – А «Цветаеву», зачем принесла? Нет, ты подумай... «Цветаеву»!

– Ну... не знаю. Захотелось, и принесла.

– У них что-то было, – высказала Паша одну из своих затаенных мыслей.

– Да ну тебя, – отмахнулась Артемьева.

– А я тебе говорю – *было*, – схватила её Паша за руку, – *было*! И «Цветаеву» с умыслом принесла... «Дверь открыта и дом мой пуст»!

– Ты совсем уже сдурела со своим Олегом... Музыку хочешь, давайте танцевать...

Далеко за полночь ушел Вольхин, обещая вернуться, если жена не пустит ночевать. Он жил рядом, через два дома.

Троицкому постелили в комнате Артемьевой, не пешком же идти ему до гостиницы. А сама она устроилась на ночь к Паше, у той широкий диван.

– Муж настаивает, чтобы я бросила театр. Боится, что я изменю ему здесь. Ужасно боится оказаться «рогатым», – жаловалась Артемьева.

– А ты ему измени, и он сразу успокоится, – посоветовала Паша.

– Плохо ты его знаешь, – невесело усмехнулась Артемьева, и вдруг, показав на Троицкого, вздохнула: – И почему не он мой муж?

– А ты спроси. Троицкий, женись на Галке, я вам диван свой уступлю.

– Ты с ума сошла. Мой Отелло проткнет его столовым ножом, а меня подвесит вниз головой. Я его боюсь.

– Троицкий тебя отобьет у него, да? Он Мих-Миха не испугался, а тут какой-то муж-психопат.

Обе с вызовом смотрели на него.

– Мне кажется, он согласен, – резюмировала Паша. – Идите спать ко мне, а я прилягу тут по-холостяцки, – и она снова заревела.

– Не могу я без него, Галка. Он такой заботливый, нежный, ты его не знаешь, он меня любит. Олеженька, голодненький мой, один сейчас, трясется в грязном поезде, и никто его

чаем не напоит, одеяло, когда он уснет, не подоткнет под него. Оно всегда сползает на пол, и он простужается. Все его побаиваются, а для меня он, как ребенок, за которым нужен уход. Идите, наслаждайтесь, а я здесь пореву.

Галя ждала, поглядывая на Троицкого.

«А почему бы и нет, – услышал он свой внутренний голос. – Мы хотим кому-то зла – нет, мы оба этого ждем – да», – и он сделал шаг к двери.

Паша хлюпала на кровати. Глаза у Галки бегали по комнате, будто что-то искали. Троицкий ждал.

– Ты иди, – наконец, решила Артемьева, – я сейчас. Мне нужно взять здесь кое-что, понимаешь.

Он прождал её долго. Они вошли в комнату обе.

– Паша безутешна. Я не могу её бросить на ночь одну, извини.

– Не верь ей, – ухмыльнулась Паша, – боится она, приедет и зарежет.

Артемьева вдруг подошла к Троицкому, уперлась в него грудью и погладила по лицу, тая от желания. Она закинула ему за шею руку, следом другую. «Иди спать, – горячо зашептала она, – и помни, это *моя* постель, иди, ложись в *мою* постель, – и она прижалась к нему изо всех сил и оттолкнула.

Разбудил Троицкого резкий стук в дверь. С трудом приоткрыв глаза – он долго соображал, где он и кто это может к нему стучать. Свет, едва брезживший в сером окне, заставил его съежиться.

– Кто там? – глухо спросил он, не вылезая из-под одеяла.

– Откройте, – ответил мужской голос, стук дверь повторился с удвоенной силой.

Троицкому показалось, что стучался Вольхин. Он пробежал на цыпочках через комнату и повернул в замке ключ. В освещенном коридоре стоял невысокий худой блондин с редкими, гладко зачесанными волосам, в светлом плаще, с чемоданом и кепкой в руках. Из распахнутой внизу двери подъезда, никогда не запиравшейся на ночь, нестерпимо тянуло холодом.

Троицкий, босой, переступал на сквозняке с ноги на ногу, плохо соображая, что происходит.

– Это комната Артемьевой? – спросил незнакомец.

– Ну, Гали... что вам надо?

– Мне можно войти? – вдруг полез в дверь блондин, не в силах справиться с трясущейся челюстью.

– А вы кто? – удержал его Троицкий.

– Я муж, понимаете, муж, – отчетливо проговорил он.

Троицкий отступил в сторону, дав возможность мужу войти, и показал на комнату:

– Располагайтесь.

– Спасибо, – с уничижительной вежливостью поблагодарил его тот, – а вы куда?

– Умыться, – буркнул Троицкий.

– Что ты сказал? Смыться?

Троицкий щелкнул выключателем – резкий свет врезался в глаза сотней мелких стеклянных осколков. Он тщательно намыливал руки, представляя, как бесится сейчас в комнате Галин муж, и спрашивал себя: «Что же мне теперь делать, объясняться с ним придется?» Вытерся первым попавшимся полотенцем и вернулся в комнату. Со свойственным его возрасту нигилизмом он презирал мужей.

– Где она? – тихо спросил блондин, изо всех сдерживаясь.

– *Она* у Паши, соседки, – как можно спокойней, объяснил Троицкий.

Блондин швырнул кепку на чемодан, и вплотную подошел к нему.

– Если бы *она* была здесь, – сказал он, буравя Троицкого глазами, – я бы не стал с вами разговаривать. Я бы...

Блондин держал голову запрокинутой и щурился, как при сильной головной боли. Троицкому показалось, что тот сейчас ударит его. Но блондин вдруг махнул рукой и сел на чемодан.

– Я ей жить не даю? Ты тоже так считаешь? – спросил он. – А-а! – застонал он вдруг. – Только-только удалось с нею хоть что-то наладить, стабилизировать... Будь оно проклято! Всё бесполезно, понимаешь? Ни черта ты не понимаешь. Еду, мечтаю – увижу её, открываю – ты! Ну, зачем мне ты?!

Левый глаз у него сузился в крохотную щелку, и от этого правая часть лица казалась шире левой.

«Пусть только тронет», – думал Троицкий, с опаской приглядываясь к лысоватому блондину. Одевшись, он расправил на постели одеяло и подошел к двери.

– Скажи, это случилось или нет? Я хочу знать!

– Я здесь ночевал потому, что опоздал на трамвай. Только и всего.

Троицкий открыл дверь, и вдруг почувствовал резкий коварный удар между лопаток. Он вылетел в коридор, дверь захлопнулась, щелкнул в замке ключ, и всё стихло. Его первым побуждением было выставить дверь и... но он взял себя в руки. Уже выйдя на лестничную площадку, подумал: «Надо бы Галку разбудить... Нет, пусть сам разбудит, а то решит, что она в туалете пряталась». И тут он почувствовал, что его разбирает смех. Он представил себе лысоватого блондина, который приехал «стабилизировать» свои отношения с женой, и теперь сидит там, на чемодане, у «разбитого» дивана. «Фу-ф, ну и приставучий зануда», – с облегчением вздохнул он, оказавшись на улице.

От вокзала отходил трамвай. Троицкий не стал дожидаться следующего и пошел в гостиницу пешком. Голова еще болела, но сознание прояснилось и очистилось, как очищалось и светлело над головой небо. Троицкий шагал по трамвайной линии пустынной широкой улицей, застроенной серыми коробками современных зданий, и безмятежно следил как по расцветному небу, вытянувшись клином, плыли с севера на юг, рваные тучки, перестраиваясь одна в хвост другой и тая по краям в лучах невидимого еще солнца. «Я артист», – как бы говорил он всем своим видом. Он шел в расстегнутом плаще, небрежно закинув через плечо шарф, широкой свободной походкой. «Что мне сырость и холод, мне наплевать, я их не замечаю. Я ко всему отношусь легко, и воспринимаю то, что меня сильнее захватывает. Однаво живем. Хочу пить – пью, нравится женщина – люблю её, хочется мечтать – мечтаю, спать – сплю. Нет, – уже конкретно сказал он кому-то, – это не животная, полусонная жизнь, нет! Это воспитание чувств, это профессия – я артист».

Клин темно-лиловых туч сносило к востоку, прибывая к облачной пелене, сквозь которую просвечивало солнце.

«А хорошо я себя вел с ним, – вспомнил он блондина, – а тот ужасный дурак», – решил Троицкий, все еще ощущая между лопаток предательский удар.

Выйдя на площадь, он замедлил шаг, раздумывая, куда идти: к гостинице или в театр? Решил сначала в театр, чтобы посмотреть расписание, а уж потом подняться в гостиницу и позавтракать.

«Ничего, мы еще повоюем, – весело погрозил он Книге, – что нам не по плечу, молодым и здоровым!» И вдруг ощутил такой прилив сил, что Книга показался ему маленьким и беспомощным стариком, и, припомнив, как тот пыхтел, показывая ему, как надо играть, Троицкий даже пожалел его. «А ведь он, наверняка, совсем неплохой старик, и дома, должно быть, его любят, и с внучатами он забавляется в выходной». И вдруг вспомнил, как в буфете, выпив стакан сока, Книга вытер рот по-крестьянски, всей ладонью. «Пусть живет», – благосклонно разрешил ему Троицкий. «Найти бы пьесу и самим сделать спектакль. А что нам мешает? Прав Книга, доказывать надо на площадке».

В театре на доске объявлений, где вывешивался список актеров, вызвавшихся на репетицию, своей фамилии он не нашел. Троицкий еще раз, не доверяя себе, перечитал рапортичку. Нет, он не ошибся – его на репетицию не выписали. Значит, Галя оказалась права: Книга выкинул его из спектакля. «Ну и ладно, – он отвернулся от доски и торопливо, чтобы его не заметили у расписания, выбежал из театра, – отосплюсь».

В гостинице его ждала еще одна неприятная новость. В номере висел тяжелый табачный дым. На столе в тарелке лежала груда окурков. На стуле посреди комнаты были свалены в кучу кальсоны, брюки, рубашка. На кровати, вместо Юрмилова, спал незнакомый кудрявый парень.

Троицкий выглянул в коридор, не ошибся ли он номером. Всё точно, и вещи его на прежнем месте. Он бросился к дежурной. «Ваш товарищ выехал вчера вечером», – объяснили ему, а так как дирекция театра отказалась платить за весь номер, вместе с Троицким теперь будут жить командированные.

– И что, они каждый день будут меняться?

– Может быть и так.

– А как же я?

– Разбирайтесь с вашей дирекцией, – отрезала дежурная.

Поднявшись в номер, он открыл форточку. Сильно болела голова. «Юрмилов предатель», – думал он устало, глядя в окно на солнце, которое, поднимаясь всё выше, отраженно блестело цинком холодных крыш над безлюдной, лишенной тени, розовой панорамой города,

Глава четвертая

VIII

Поздним утром гостиница затихала: редкие шаги изредка раздавались гулким эхом из конца в конец коридора. Троицкий сидел в постели, поджав ноги; перед ним поверх одеяла в беспорядке валялись журналы и сборники пьес. За окном было пасмурно. Хотелось есть. Но в буфет он уже опоздал. Сосед по номеру, третий за неделю, вечерами заваривал большой глиняный чайник, угощал пирожками, мог приготовить салат, смастерить легкий ужин, вызывая разом восхищение и зависть у Троицкого, который этого не умел и рабски зависел от буфетов и столовых.

Просматривая пьесы, он всё искал что-нибудь для самостоятельной постановки. Вдруг, зачитавшись, с трудом отрывался от страницы, привлеченный шумом в коридоре, прислушивался как кто-то ходил там, останавливаясь и громко спрашивая дежурную, и опять принимался за пьесу.

– Кто там? – отозвался он на резкий стук в его номер.

Дверь скрипнула. Обернувшись, он увидел в комнате военного.

– Серый, – радостно бросился к нему военный, – ну, черт, еле тебя нашел.

Они обнялись. От Виталия Руднева несло «Шипром». Фуражка, шинель, лицо были мокрыми и холодными.

– Ты как узнал?

– Мать в письме написала. Здорово получилось, правда? – радовался Руднев, раздеваясь и отряхиваясь от дождевых капель. – Вот куда нас занесло. Не думали, не гадали. Ты, как знаешь, Серый, а я годок тут протрублю и в академию.

Прикрыв одеялом постель, Троицкий одевался.

– Я свою академию закончил.

– Мне тут, сказали: раньше, чем через три года, не отпускают. Надо сделать, чтоб отпустили. Я уже кой-какие книжечки взял по специальности. Ничего, буду почитать понемногу, готовиться... Есть у меня еще один козырь. Познакомился, представь, с дочкой замполита, так... Слушай, когда у вас начнется сезон, ты мне пару контрамарок обеспечь. Надо сводить её в театр. Задачу понял?

– Понял, – кивнул, рассмеявшись, Троицкий. – Как это ты... сразу с места в карьер...

– Что значит – сразу?

– Деловой очень.

– Серый, первое, что я усвоил для себя в этой жизни, это... Если есть у тебя к кому-нибудь дело, выкладывай сразу, не темни, не мямли, иначе напряжёнка, и... А я этого не люблю.

– Мудрец.

– А ты как думал! Хочешь, чтоб тебя уважали, уважай чужие слабости и при случае ублажай свои – в этом, Серый, всё!

Руднев замолчал и задумался, отсутствующе глядя на Троицкого небольшими серыми, близко посаженными глазами.

– А помнишь, Серый, как мы Ирке Чуркиной букеты роз в окно швыряли? Кустища какие были у соседей, да? Помнишь? Кругом темнота... Как только Ирка свет зажжет, окно откроет, мы шарах, шарах, и наутек... А однажды, помнишь, я стекло ей букетом разбил.

– Помню, – кивнул Троицкий, – подкову к букету привязал.

– На счастье, – улыбаясь, вспоминал Руднев.

И обоим представился их дом с кустами роз под окнами, теплые вечера, скамейка в сирени, где они вчетвером: Троицкий, Ирка, Руднев и Ленька – засиживались до темноты.

– Чуркиной кидали мы с тобой розы, кидали, – прервал молчание Руднев, – а она за Леньку замуж вышла. А он, помнишь, каким был рохлей?

– Значит, это правда?

– Что они поженились?

– Ну да. Я же этого не знал, ничего не понимаю, – признался Троицкий. – Ленька написал, что мы с тобой ему надоели, что нам до него нет никакого дела, и послал нас ко всем чертям... А я не пойму, шиза, думаю, очередная... Она ж его не любит...

– Конечно, не любит, – подтвердил Руднев.

– Не понимаю, зачем? Это же...

– Что ты не понимаешь? – обозлился вдруг Руднев. – Знаешь, наши мечты на лавочке одно, а жизнь совсем другое. Я вон мечтал летать, а стал техником, хотел я этого? Меня на первой же медкомиссии забраковали. А тут училище под боком, через дорогу, и дядька там работал, и поступить легче, и поблажки всегда. Я каждую субботу и воскресенье дома жил, даже среди недели домой бегал... Что, плохо? Теперь пойду в академию, продвигаться надо, продвигаться... А Чуркина, помнишь, как мне нравилась?

– А сейчас?

Руднев задумался, и вдруг, будто разозлясь на себя, сказал: – Да на кой она мне сейчас нужна? У неё теперь Лёнька есть. И потом... Ирка красивая, только и смотри, чтоб её кто-нибудь не трахнул. Нет, это не жизнь. Так никуда не пробьешься. Когда уезжал, знаешь, что она сказала: мне, Виталька, замуж надо, женись сейчас. А теперь представь, Серый, я здесь с женой, еще родится кто-нибудь... Да я не только в академию... на веки вечные тут останусь. – Он тяжело вздохнул. – Сам, не собираешься?

Троицкий покачал головой.

– И правильно. Ну их к черту! Я тебе вот что скажу, ничего хорошего в них нет. Я уже присмотрелся. В большинстве своем – дуры, а красивые – особенно; кто же мало-мальски сообщает – уродины или ни то ни сё. И опять же, только кажутся неглупыми, пока ты с ними далек, а сойдешься поближе, темы резко меняются, смотришь, она ничем от красивой дуры не отличается, но та хоть красивая. Ты помнишь Ирку в школе? Какая она была «принципиальная». На переменке увидит с девочкой из другого класса – слезы, ревность, месяцами не разговаривала. Как-то поцеловал её в щеку, она так на меня посмотрела, будто я ей эту щеку прожег раскаленным железом. Не дотронься, не скажи, не подумай – прямо-таки святая!.. А потом отдает себя парню, которого не любит. О чем тут, Серый, говорить.

– Может, влюбилась.

– Влюбилась? Гуляли мы как-то втроем. Она сложила зонтик – дождь лил – и этим зонтиком Лёньку по морде... повернулась и пошла. Он за ней до самого дома бежал, прощение просил, и только там, у дома, она позволила себя уговорить.

– Это же... черт знает что... столько лет мы... Она такая вся «светская», у них даже телефонная трубка была в чехле. Я от неё грубого слова не слышал.

– И я тоже. Но Лёнька... Он парень с «приветом». Всё боялся, что я Ирку уведу, сам прятался и её прятал, пока не женился. Хитрил, только, кого он обхитрил, дурак. Если б я знал, может, отговорил бы его.

– А ей это зачем?

– Родители у него богатые, парень он не глупый, будет кандидатом, а то и доктором, по уши влюблен. А шуры-муры завести с кем-нибудь при желании всегда можно... это от неё не уйдет, при таком-то дураке...

– Не понимаю.

– Да всё тут, Серый, ясно – отмахнулся Руднев. – Для меня важно поступить в академию. – Виталий взял шинель, и, одеваясь, приснул. – А выйду на пенсию, дам в газету объявление: «Отвечу теплом и заботой на доброе ко мне отношение женщины в возрасте пятидесяти лет, верного, бескорыстного друга, ведущую трезвый образ жизни». И заживу с ней душа в душу. Ладно, побегу, служба. Не забудь мне сделать контрамарку. Ты как тут обосновался?

Троицкий обвел взглядом номер, и вдруг понял, что ни секунды не может здесь больше оставаться.

– Подожди, – взялся он за плащ. – Я тоже уйду, мне в театр надо.

«Пойми их, – думал Троицкий, простившись с Рудневым. – Нет! Нельзя так, нельзя! Раз себе соврал, переступил, пересилил себя – и все, сломал жизнь... и это в самом начале, потом всё, уже не поправишь!»

IX

У театра безлюдно. Под дверью служебного входа большая лужа грязной воды. Троицкий потянул за холодную ручку. В проходной склонилась над книгой дежурная, подслеповато морщась; коротко лизнув палец, она торопливо листала страницы.

– Мне писем не было? – спросил он.

– Что такое дактилоскопия?

– Это... наука такая в криминалистике, когда идентифицируют человека по его отпечаткам пальцев. Почта была?

Она вынула из ящика пачку писем. Троицкий пересмотрел их и положил на стол.

К открытию сезона в зрительском фойе натерли пол и проложили вдоль стен несколько широких некрашенных досок, чтобы актеры его не затоптали. Одна такая дощатая дорожка вела в буфет, возле которого беседовали в ожидании буфетчицы Фима, Рустам и двое стариков.

– Представляете, – говорил Фима Куртизаев с хитрыми, зыркающими по сторонам глазками, – берут на работу в театр Кентавра...

Троицкий поздоровался. Ответил ему только худенький, щуплый старик в зеленом поношенном костюме.

– Распределение ролей. Пьеса Эсхила «Кентавр»: *Кентавр* – Иванов, *прохожий* – Кентавр.

– Точно... молодец, – зашелся неслышным смехом Рустам, – ему, дураку, в массовке еще надо побегать, чтобы опыта набраться, как играть *Кентавра*... мало ли, что он сам Кентавр.

– Так приедет молодой Ромео в театр, – хихикал дядя Петя, длинный, как жердь, дергая себя за брови, – так что ему Ромео давать? Не-е-ет. Пусть сначала полысеет, вставит зубы, а уж потом посмотрим, сможет или нет. А то, ишь ты, молодые, прыткие какие стали.

– А когда режиссеру говорят: ну, мы же Кентавра взяли в театр на роль *Кентавра*. Режиссер спрашивает: а что, он может цокать копытами? Отвечают: может. Вот пусть за сценой копытами и цокает, зачем же мы его брали?

– А на генеральной, – оживился старик в зеленом костюме, по-детски улыбаясь, подняв перед собой маленькие ручки, будто собирался играть в волейбол, – вдруг останавливает он прогон и орет на весь театр: «Кто там в кулисах бездарно так цокает копытами?» А ему отвечают: Кентавр, Михал Михалыч.

Артисты стонут от смеха.

– А что? – отсмеявшись, говорит Рустам. – На Кентавра репертуар можно брать. К примеру, «Конька-Горбунка», «Холстомера».

– У Апдайка есть роман «Кентавр», – заикнулся Троицкий, когда в разговоре зависла пауза.

– Совершенно верно, – показал на него ручками пожилой артист.

– «Сивка-Бурка», может играть на детских утренниках, – продолжали артисты перечислять «лошадиный» репертуар.

– А представляете, что делалось бы с актрисами, как бы они вокруг него вились, – фантазировал Фима Куртизаев, улыбаясь не только круглым лицом, но ушами и даже затылком.

– А какая-нибудь из них, – теребя брови, икал от смех дядя Петя, – спросила бы, намазывая на пальчик длинную шерсть его хвоста: «Скажите, а вам не холодно ходить по улицам без ничего?»

– Рустам, на «Дело», – крикнул помреж, приоткрыв дверь в закулисную часть, и тот торопливо поковылял за ним следом, балансируя на досках.

На сцене у березок из папье-маше, о чем-то спорили Галя и Крячиков. За режиссерским столом мрачно курил Михаил Михайлович, пуская клубы дыма, не затягиваясь.

– А где настоящие березки? Помните, что были у нас в прошлом сезоне?

– Отдали, Михал Михалыч, – донесла на дирекцию помощница режиссера.

– Куда?

– В ресторан для интерьерера.

– Верните, – тихо сказал он зловещим тоном, – я не буду репетировать до тех пор, пока мне их не поставят на сцену.

– Перерыв, – объявила зычным голосом Клара Степановна.

К счастью, открылся зрительский буфет. У стойки тут же образовалась очередь. Артисты подкреплялись чаем и бутербродами.

– А у нас какая-то бригада иностранная была, с куклами, очень смешной концерт... когда вы по гастролям ездили... я их кормила. Лопочут что-то, – с удовольствием рассказывала сорокалетняя буфетчица, разливая чай белыми пухлыми руками, – лопочут, ничего по-русски не понимают... потом научились. Утром приходят и: «Мне мальока». Мальока, надо же. «Масля». Ну, разумеется, говорю: масля. А одна была такая бестолковая, берёт по двадцать раз – то одно забудет, то другое. Только ей отпустишь, увидит чай у кого-нибудь, и опять ко мне. «И мние, – говорит, – тчаю», таким плаксивым капризным голосом... Да? – переспрашиваю её с удивлением, – что вы говорите, тчаю? Едва сдерживаешься, ей-богу. И такая она неряха. Я думала, у них там все чисто ходят. А у этой вечно что-нибудь торчит или... У вас рубашка, говорю ей, из-под юбки видна, это так модно? «Яя, яя». Значит, – говорю, – так у вас принято, чтоб исподнее выглядывало? «Яя», кивает, ничего не понимает или вид один делает, что не понимает. Ты подумай, говорю, как у вас там. А у нас, показываю на себя, чуть что не в порядке, уже неприлично считается.

– Что с ними разговаривать, – поддержала буфетчицу помощница режиссера, на ходу жуя домашний бутерброд с котлетой.

– Клара Степановна, вам чего?

– Тчаю. Я как-то... (Она обернулась, приглашая и остальных послушать себя.) ездила по туристической. Повели нас в бассейн с парилкой, и вваливается к нам в парилку иностранка в купальнике, в шапочке, с нее течёт. Вы бы, говорим ей, вытерлись – плохо вам будет. «Нет, – отвечает, – меня учили по-другому». Значит, недоучили вас, влажность вредна. «В финских банях можно и так». Правильно, объясняем ей, там стены деревянные, а здесь кругом кафель. «Ну, я так хочу (слышите?), и какое кому до этого дело. Меня, здесь всё учат. Нигде такого нет, только у вас. Я хочу делать, как я хочу, и никого это не должно касаться. И чуть не плачет. Как это, говорим, раз непорядок – вот и учим вас порядку. Честное слово, терпение у кого хотите – лопнет. «А я не хочу, – возмущается она, – чтоб меня учили. Я взрослый человек. У нас делай, как хочешь, никто тебя учить по-своему не будет». Значит, у вас анархия! «Нет, – обижается, – не анархия. У нас это называется демократией».

– Что тут сказать, – подала ей чашку буфетчица, – присмотра там нет за ними никакого, они и балуют.

Троицкий взял чай и два бутерброда, и бережно понес стакан на блюдечке, который едва не соскользнул с блюдца кому-то на колени.

– Садитесь сюда, – пригласил за свой столик Павел Сергеевич, уже знакомый Троицкому пожилой актер в зеленом костюме. – Бр-ррр, холодно. Хотите согреться? Давайте я вам прямо в чай.

Он что-то плеснул в стакан из небольшой фляжки. Троицкий отхлебнул, и взялся за бутерброд.

– Я сейчас слушаю, наблюдаю, – заговорил Павел Сергеевич. – Посмотрите, какие в действительности у людей блеклые лица. Ей-богу, прожил семьдесят лет и никогда этого не замечал, присмотритесь – цвета кукурузных зерен, гладкие, какие-то диетические лица.

Троицкий окинул взглядом артистов, стоявших у стойки, и обнаружил в очереди Артемьеву с мужем.

– Мы на сцене мажемся, гримируемся, подкрашиваемся, а в жизни все не такие и всё не такое, – говорил, отхлебывая чай, Павел Сергеевич.

Галя не сразу заметила Троицкого, а, заметив, равнодушно отвернулась. Муж что-то ей внушал, хватая её то за руку, то за плечо.

– Вот у этого, например, видите, рядом с Галей, – кивнул Павел Сергеевич на её мужа, когда тот, почувствовав на себе чей-то взгляд, узнал Троицкого, – черт знает что вместо лица... Разве это лицо – коленка, на которой вырос нос и прорезались глаза. Даже губы – только шелки, складки на коленке. Не зря, думаю, Сезанн на своих картинах так много накладывал на лица синего, красного, темного, чтобы вызвать их к жизни. Хорошо иметь красно-синюю рожу пьяницы, или обвисшее, тучное, апоплексическое лицо обжоры, или лицо страстного любовника с лихорадочным блеском и тенями у глаз! Лица, на которых страсть расписалась синькой, кармином, багровыми подтеками, морщинами. Живые, сложные, разные лица, а не чиновничьи коленки! Я шучу, конечно, но вот что я вам скажу, молодой человек, отпускайте себя, не сдерживайтесь вечно: *это* нельзя, *то* нельзя – тратьтесь! Вы несравненно лучше себя почувствуете. В конце концов, отпустите усы и бороду, вам пойдет.

Бледное худое лицо старика выглядело очень усталым.

– Пал Сергеичу, – подсел к ним за столик Рустам, обнажая в улыбке желтые зубы.

– Когда зубы вставишь?

– Пал Сергеич, вы видите...

Он широко раскрыл рот, выставив на всеобщее обозрение коричневатые корешки, торчавшие из воспаленных десен.

– Все надо удалять и делать протез, и буду я потом им шлепать, как мокрой калошей. Нет уж, похожу пока таким. Мне любовников не играть... что это? А-а-а, вы уже?

– Бери бутерброд, – разрешил Павел Сергеевич.

Рустам заспешил к буфету.

– Вот нюх, – удивился старик, – как он чует?

– Только чуточку, – вернувшись с бутербродом, прикрыл он мизинцем стакан, и, понизив голос, быстро заговорил.

– Слыхали, березы наши тю-тю... администрация в ресторан пристроила. Мих-Мих, как узнал, чуть не лопнул. Пыхтит, багровеет... сейчас у директора. Все уже думали, уйдет на пенсию после инфаркта. Не идет, живучий. А тебя, почему нет на репетициях?

Троицкий неопределенно пожал плечами.

– Зря. Надо ходить, сидеть и смотреть, чтобы все знали. Между нами, ты мне больше понравился, чем Юрка, но ты еще молодой... психология тебя заела. Слушайся меня, ходи, смотри, учи текст, а там кто знает... Вдруг случай, а ты тут как тут, уже готов, раз, два и... понял? Да, Пал Сергеич?

– Юра, – вскочил Рустам, – заметив у стойки Юрия Александровича, – там еще не начинают?! Спасибо, Пал Сергеич, век не забуду. – Он благодарно улыбнулся старику, и потянулся целоваться к Горскому.

– Это место, Юрка, с чалмой, ты здорово делаешь, обхохочешься, молодец, – и Рустам ткнул его кулаком в грудь. Они о чем-то пошушукались у стойки и вместе ушли из буфета.

– Не нравится мне эта дружба, – грустно сказал Павел Сергеевич, глядя в их сторону. – Этот Юра... видно, хорош гусь. Как бы Рустам опять не задал работы местному. А ведь он, должен вам сказать, артист первоклассный. А вы не отчаивайтесь. – Павел Сергеевич повернулся к Троицкому. – Я когда сюда приехал, был уже артистом со стажем и, говорят, неплохим, у Мейерхольда работал... Сманивший меня в этот город директор наобещал с три короба. Дали мне роль, хожу на репетиции, а жить негде, снимаю угол, зарплата маленькая, жена ропщет, а директор, тот даже не здороваётся мной. Я месяц так пожил, а потом как-то встречаю его в коридоре... Он, как обычно, ноль внимания, я киваю, он идет мимо, будто не замечает. Допек он меня. Я останавливаюсь, загораживаю дорогу, и давай его крыть... Он даже назад подался, испугался, думал, изобью... Что ж ты, говорю, такой-сякой делаешь? Где я живу, ты знаешь? Ты, когда меня сюда сманивал, зарплату приличную обещал? Что ж ты, говорю, морду свою от меня воротить? Не нужен я, завтра же уеду!.. И что ты думаешь? И комната нашлась, и зарплату прибавили, и шагов за сто кланялся мне... Рустам прав, не будешь им глаза мозолить, и думать о тебе забудут. Ты где живешь?

– В гостинице.

– Так я и думал, напрасно! Требуй комнату, а то так и останешься ни с чем. Эх, сбросить бы полсотни годков. – Он задумался. – Нет, не хочу. Поверишь, не хочу! Жалко мне вас. Какие вы артисты, только и знаете, что кружить по режиссерским извилинам. Не ваша это вина... – Он тяжело вздохнул. – О чем тут говорить, если карьера артиста, его судьба в их полной власти. Захотят – двинут вас, не захотят – задвинут. Может, это и естественно, что в век режиссуры артист вырождается, вот-вот – и попадет в «красную книгу»? Нынче режиссер, работая с нашим братом, как нам объясняет свой замысел: *показывает* всё – от и до. Как правило артист он никакой, а мы вынуждены смотреть, слушать и в течение долгих репетиций впитывать в себя чужое. Потом нас рвет на спектаклях его интонациями. Представь, каково хорошему певцу слышать, как поёт его арию безголосый? Помню, в моей молодости был такой антрепренер Синельников. У него в труппе артист сразу дебютировал в большой роли, выплывает – артист, не выплывает – меняй профессию. И чтобы на репетициях он навязывал себя актерам – никогда! Заглянет в зал, постоит, посмотрит, и тихонько выйдет. А сейчас, пока сам режиссер не наиграется, артисту рта открыт не даст. А ты смотри, запоминай и повторяй – больше от тебя ничего не нужно. А я – где? Я – зачем?

Он недовольно сморщил лицо, растягивая бледно-сиреневые губы, и, чтобы не кричать, перешел на шепот: – Всё в их руках: власть, пьеса, замысел, а чем им это выразить, если нет у них такого органа. Вот и задумаешься, и что это за профессия такая, их пожалеть можно... Здравствуйте, Инна, – грустно кивнул он актрисе, присевшей с чашкой чая за соседний столик.

– Выживаю из ума, наверное, стал предпочитать любительские спектакли. В студию приходят от «не могу молчать», чтобы сказать что-то такое, что никак не реализуется в их жизни. Они выходят на сцену и кричат всем своим существом о том, чем живут, что их мучает, о чем-то очень-очень своем. И пьеса и роли – всё выбирается с прицелом на «своё». Меня это захватывает. И не смейтесь, молодой человек, я часто плачу. Может, это напоминает мне мою молодость, наши студии в Москве. Каждый новый спектакль – сражение: с рутиной, со скукой, с серостью, штампами... Хотелось разобраться во всём, понять, что вокруг делается, как меняются люди, жизнь... Если бы мне сказали, что когда-нибудь я всё это забуду, полез бы драться... да я и не забыл...

Он долил себе в стакан из фляжки и медленно выпил свой чай.

– Всё ушло, ушло... На сцене врём подчас каждым словом и не соображаем, не знаем – зачем? Даже в кино я перестал ходить. Люблю смотреть только хронику: там никто не кривляется, никто не пыжится, чтобы доказать кому-то, как он талантлив – там люди живут, работают, развлекаются... Держитесь от «театра» подальше – мой вам совет, если хотите стать артистом.

В буфет вошла Клара Степановна.

– Перерыв закончился. Все по местам. Сеня, Инна, давайте на сцену.

– А березы отвоевали у ресторана? – поинтересовалась Ланская.

– Отвоевали, – кивнула с улыбкой Клара Степановна.

Тут она заметила Троицкого, и вовсе просияла:

– Хорошо, что я вас увидела. Вечером вы вызываетесь на репетицию. Будете играть *Барашкова*. Приказ повесят завтра, но Михал Михалыч просил вас прийти на репетицию сегодня вечером.

– Вкусный у вас чай, – поднялась из-за стола Ланская. – Выпила б стаканчик еще, да надо бежать.

Следом за ней, сложив горкой посуду, поднялся Вольхин.

– Не переживай, – кивнул он Троицкому, – там делать нечего. Всего два выхода... моя роль такая же... Дождись меня после репетиции.

– Мне тоже пора, – вздохнул Павел Сергеевич, и мелкими осторожными шажками поплелся из буфета. Взглянув в окно на высокую стройную рябину, сказал грустно:

– Ягода обильная и красная – к холодной зиме.

– И как мне его жалко, – сокрушалась буфетчица, – взяли и выставили старика на пенсию. Может, и трудно ему, а всё ж был при деле. А так – что ж... один-одинешенек...

Осторожно ступая по доскам, чтобы не шуметь, Троицкий прошмыгнул в кабинет ВТО. Он боялся, что его заметят и прямо сейчас потащат репетицию. Из зала, по трансляции, на весь театр шипела не своим голосом помощницы режиссера:

– Толя, дай на секунду «дежурку». Я не хочу рисковать людьми. Они еще пригодятся.

– Пошла музыка. Снимай свет... Водящий... Свет на главк.

В кабинете тихо. Из зала едва слышно доносятся голоса актеров. Негромко бормочет радио. Троицкий взял местную газету «Новая жизнь», развернул её и прочитал заголовок переделки: «Всё по-старому».

Х

– Едем, Троицкий, ко мне, – настойчиво зазывал Сеня, – деликатесов не жди, домашних щей похлебаешь.

Видно, очень ему не хотелось возвращаться домой одному.

– Едем, – неохотно уступил Троицкий.

Следом за ними из театра вышла Ланская. Она выглядела подавленной, усталой. Часы на площади показывали половину четвертого. Цокая каблучками, Инна удалялась оживленной улицей, засунув руки в карманы. Троицкий смотрел ей вслед. Ровный, белый, бессолнечный день, точно застыл от довольства собою. Вокруг тихо, воздух горек от дыма, подсыхает на газонах земля. Не дрогнет ветка. Зеркально-покойны лужи. Медленно бредут по улице прохожие, догоняя Инну и обгоняя её. Какая-то безмятежность и рассудительность чувствуется во всём: в движениях, взглядах, разговорах, будто все заботы где-то там далеко впереди, а сейчас, в теплые дни бабьего лета, можно расслабиться и ни о чем не думать в ожидании еще не близкой зимы. Как не похоже это было на Москву.

И опять он вспомнил Алёну, их прогулки по московским бульварам, вот в такие же теплые осенние бессолнечные дни, и его опять потянуло в Москву. «Надо работать, работать», – с ожесточением твердил он, ощущая, как, напрягаясь, каменеет лицо от нестерпимого жела-

ния – немедленно, сию минуту, взяться за дело. «Всё будет, и успех будет, и Алёна будет, надо только...»

– Она тебе нравится? – спросил Вольхин.

Не сразу сообразив, о ком его спрашивали, Троицкий возмутился: – Ты в своем уме? Ей лет сорок.

– Не сорок, а тридцать три...

– Мне она показалась заносчивой. Мнит о себе много. Я слышал...

– А ты... Не используй уши как помойное ведро, иначе такого туда набросают... Не важно, это я к тому, что Инна просила тебе передать, – заторопился вдруг Сеня, – если будет нужно, например, выстирать рубашки, ты можешь, не стесняясь, отдать ей.

Изумление на лице Троицкого не смутило Вольхина.

– И не забудь, что у тебя вечером репетиция. Лучше тебе сейчас не лезть на рожон, дожись *главного*. Вдруг нам опять повезет... чего в жизни не бывает.

– Ну да, а если он станет меня унижать? И этот еще – Игнатий Львович.

– Тише, – испуганно предупредил Вольхин, оглянувшись.

– Кто там? – не понял Троицкий.

– Никого. Но мало ли что, у стен есть уши. Ну, что ты на меня так смотришь?

– Ты, Сеня, даешь. Вы что здесь, все с ума посходили? Теперь и думать уже нельзя?

– Да думай ты, думай, сколько угодно, только не трепись.

– Сеня!

– Ладно тебе, заладил, Сеня, Сеня. Не хочу больше никаких неприятностей, и всё. Не могу, понимаешь? Не хочу, чтобы мне потом в театре нервы трепали. И не пяль так глаза. Ты один, с тебя взятки гладки. Не понравилось – уехал, а мне ехать некуда. Мне здесь пахать. Я уже высказался как-то... Помотало меня по... пропал бы к черту, спиваться стал. На мое счастье, познакомился с геологами, ленинградцами. Каждый вечер они после работы облачались в белоснежные рубашки, все надушенные, выбритые, в наглаженных брюках, ботинки сверкают... Мы их спросили: вы для кого, ребята, здесь вырядились? А мы небритые, свитерки на нас темные, куртки мятые. «Нет, говорят, братцы, пропадете вы так, если за собой следить не будете. Как только себя отпустите, тут вам и хана». И действительно, сам чувствую, что опускаюсь, а остановиться не могу. Звание мне обещали, не стал дожидаться – уехал. А тут квартира, в театре меня ценят. Куда меня опять понесет? Что я там не видел?

У железнодорожного вокзала они пересекли бесхозный пустырь и зашагали к пятиэтажкам.

– Ну, и что ты имеешь, кроме квартиры? – спросил раздраженно Троицкий.

– Ты считаешь, этого мало?

– Мало? – удивился он. – Да это ничего. На вас здесь затмение нашло? Ничего не понимаю. Объясни, я хочу понять. Ради чего всё – институт, театр... Если мы станем сами себе врать, прикрываясь тем, что сегодня дадут квартиру, завтра, может быть, роль, потом зарплату... Что от нас останется? Ты посмотри на Галю: ведь умный человек, хорошая актриса... Ты её видел сегодня с мужем? Какой у нее был неживой, фальшивый взгляд. Сеня, она его не любит, и как ни в чем не бывало воркует с ним в обнимку. Зачем ей это нужно? Ну, ошиблась, бывает, зачем же тянуть эту ложь через всю жизнь? Надо всегда оставаться самим собою, не врать ни за какие блага, никогда! Сейчас это для нас самое главное, иначе крах, деградация. Через год-два можно сделаться шутком, а я не хочу быть шутком. И не буду.

Вольхин достал ключ от входной двери.

– Заходи. Не снимай ботинки. Повесь плащ и пошли на кухню.

Сеня убрал со стола грязные чашки, кофейник, сгреб ладонью крошки хлеба и обрезки сыра, протер стол.

– Вот теперь чисто, можешь садиться.

Он заглянул в кастрюли, в холодильник, и устало сел на табурет.

– Есть, конечно, нечего. Будем пить чай. Или хочешь, давай нажарим картошки.

Он полез в пакет, но тот был пустой.

– А... ладно. Поставлю чай.

На плите зашумел чайник.

– Ты у нас долго не удержишься, – спокойно сказал Вольхин, – а жаль, мне жаль.

Скрипнула входная дверь, кто-то вошел в квартиру.

– Люба, это ты?

– Ну, кто же еще, – грубо ответили из прихожей.

Там долго шуршали плащом, стучали каблуками. Наконец, она появилась, усталая, хмуряя.

– Познакомься, моя жена Люба, а это наш новый артист.

– Сергей, – он встал.

– Мало вам артистов, – хмуро отозвалась Люба, и отвернулась. – Ты поешь что-нибудь приготовил?

– Люба, я только что пришел...

– Мог бы и поторопиться.

– Это не от меня зависит.

Она засучила рукава, надела поверх юбки фартук и полезла в пакет.

– Что, картошки нет?

– Нет, – сдержанно ответил Сеня.

– Иди за картошкой, – так же сдержанно приказала Люба.

– А деньги...

– Возьми у меня в кошельке.

– А где он?

– Поищи

– Где?

Люба с ненавистью глянула ему в лицо.

Сеня встал и нехотя принялся искать кошелек. Рылся в серванте, в шкафу.

– А где искать? – крикнул он из комнаты, приоткрыв дверь. – Ты не помнишь, куда его положила?

– Посмотри в сумке, остолоп.

– Вот сама взяла бы и посмотрела, – обиделся Сеня, – не люблю я лазить по чужим сумкам.

Он взял в руки Любину сумку. Какой только не было там ерунды: пуговицы, огрызок карандаша, ярлыки купленных вещей, вязание...

– Тогда в плаще, – уже теряя терпение, крикнула из кухни Люба.

Он вытащил из плаща кошелек и поплелся за картошкой.

– У всех мужья как мужья, но у меня... Артист, одним словом. – Люба ни секунды не стояла без дела: мыла посуду, подметала пол, туда-сюда мотаясь между кухней и комнатой. – Знала бы, ни за что замуж за него не пошла. Целыми днями ошивается в театре. Что он там делает, не знаю, но дома его нет. Зарплату приносит – сиротке больше дают. Все праздники у них спектакли. За ребенком смотреть некому. Я ему говорю, давай буду дома сидеть, работать не рвусь, только приноси домой... таких денег ему вовек не заработать. Тогда, говорю, дома сиди, я еще по совместительству устроюсь, – не хочет. Пошла я как-то с сыном посмотреть на него в какой-то сказке. Поверите, чуть со стыда не сгорела. Одели его в страшные лохмотья, и еще рога на лоб прицепили. Я в школе работаю, меня все здесь знают, увидят его таким чучелом, засмеют. А вы посмотрите, в чем я хожу. Я еще не старая, мне одеться хочется, а нам едва на еду хватает. Я уж стараюсь подработать в школе, в продленке остаюсь, заменяю,

если кто болеет, не отказываюсь, но у меня сын – как возьмешь его из детского сада, сидишь с ним как привязанная. Я, знаете, думала, артист это... что-то необыкновенное. Честное слово, до замужества завидовала их женам, избави нас и помилуй. Не могу на себя в зеркало глядеть, просто дряхлой бабой с ним стала.

– Извините, я пойду, – вдруг сорвался с места Троицкий.

«Не женюсь, никогда не женюсь», – думал он, выходя на свежий воздух.

– Фу, ты, – пыхтел он от досады. – И ведь красивая, пока молчит. А заговорит: и зубы у неё кажутся желтыми, и рот кривой, и вся она какая-то старая и нечистая.

Троицкий подумал о Леньке, но увидел Чуркину в её уютной квартире. Они там часто собирались всей компанией послушать музыку, потанцевать. Он прижимал к себе Ирку, нога сама протискивалась у неё между ног – незнакомое волнение доводило до судорог, будто берешься голый рукой за оголенный провод, сердце колотилось от страха и смелости, и от желания еще раз прикоснуться и провести рукой по холодной тугой проволоке.

– Нет. Не хочу. Виталька прав – нельзя себя связывать семьей, какой бы она ни была. Представь, ты встал утром в определенном настроении; ты знаешь, если поддашься, прислушаешься к себе, многое успеешь в этот день. Предположим, я знаю, что сегодня мне надо то-то прочесть, а после репетиции пошляться по городу без дела... Хотя на самом деле может в этот день ничего нет для меня важнее этого: самые трудные места в роли мне даются вот так, когда слоняюсь по городу; или у меня встреча, или я захочу пойти в филармонию... А если женат? Ты ещё не проснулся, а над тобой уже... и всё это на законном основании, только потому, что она твоя жена... помешаться можно! А если ты хочешь уехать, а ей тут нравится? Или тебе временно нужно поработать в другом городе? Разве она тебя поймёт? Мало того, что тебе ставят палки в колёса, тебя ещё откровенно держат за руки...

– Это с кем вы тут разговариваете? – прервала его мысли («о, боже!») Инна?! Он даже огляделся, будто хотел спросить: что это? где это я?

Давно стемнело. За спиной у него нависало серым монстром барочное здание филармонии.

– А я вот напилась сегодня, – по секрету призналась Инна, – поэтому я такая смелая. Хожу одна так поздно, и даже могу, видя, как вы продрогли, пригласить к себе на чай. Пойдете?

Троицкий почувствовал, будто пружина, которая до этого всё сжималась у него внутри, вдруг стала стремительно раскручиваться – у него закружилась голова и наступило облегчение.

– Так мне не хотелось сегодня скучать одной. К счастью, встретила на улице приятеля, очень известного в городе «людоведа», то есть, я хотела сказать, что он их коллекционирует – «живые души», то есть. Очень увлекается всякими интересными личностями. Ведь вы интересная личность?

Троицкий отрицательно покачал головой.

– Не верю. У него жена отлично готовит. Ай-яй-яй... какой плов они варят в таганке... со всеми специями, с бурым рисом, по всем правилам... Хотите, зайдём ко мне? Чаем угощу.

Троицкий серьезно задумался. Но ему не дали ответить.

– Ну, что ж... не хотите ко мне в гости, не надо, а жаль, – сокрушенно покачала она головой. – Не хотите, как хотите. Насильно мил не будешь. Пойду спать. Ну, прощайте.

Она уже собралась идти, вдруг обернулась, и заговорщицки поманила к себе:

– ... и киндза, и морковь, барбарис, и ещё что-то, и ещё, – шепотом, как великий секрет, сообщила она.

Подошла к подъезду и снова обернулась.

– Вы не обиделись. Я бы пригласила вас... но боюсь себя, пьяную дуру.

Глава пятая

XI

Перед началом утренней репетиции кто-то распустил слух, будто приехал *главный*. Говорили даже, что он, якобы, хочет посмотреть прогон, и поэтому начало репетиции задерживается.

Актеры притихли, настороженно выспрашивая друг у друга: «Вы его видели? Ну, какой он?» Какой он – от этого зависело многое. Кто станет фаворитом, а кто уйдет в тень? Какой репертуар он любит? На кого делает ставку – на стариков или молодежь?

– Ничего, ничего не знаю, – отбивалась от артистов Клара Степановна, – всем велено в зал, не задерживайтесь.

В проходе между сценой и первым рядом партера нервно переминался с ноги на ногу директор.

– Идите к нам, поближе. Вот сюда, в первые ряды, – приглашал он артистов.

Тут-то все и заметили мужчину с набриолиненными волосами. Он сидел перед директором, полуобернувшись к залу, и с нескрываемым интересом разглядывал актеров, толпившихся у кресел.

– Товарищи, – торжественно, с высокой ноты начал директор свою речь, – я облечен властью представить вам сегодня...

– ...после совещания, на пресс-конференции выступил заместитель плановой комиссии... – вдруг громко, на весь зал, сообщило радио.

– Что это? – оглянулся директор на помощницу режиссера.

– Сейчас узнаем, – опередил её Крячиков, и бросился из зала.

– Готовность номер один, – тихо, но внятно сказал рыжий актер.

– Просто, у него не-коммуналка-бельность, – уточнил Куртизаев.

– Это, кажется, из будки, Игнатий Львович, – доложил Крячиков, вернувшись в зал. – Из будки радиста. У него репродуктор испорчен, то молчит, то говорит.

– Пожалуйста, – обратился к нему директор, – потрудитесь, чтобы это... его, значит, выключили. Итак, наш новый главный режиссер, – продолжал директор, – Игорь Станиславович Уфимцев.

Все зааплодировали, неуверенно, но громко, искоса поглядывая друг на друга.

– Я уже... – встал Игорь Станиславович, улыбаясь Книге, – пообещал Михал Михалычу, что надеюсь приручить его к своей методе...

– ...прирученный кит-нарвал по прозвищу Шаму, – вещал из будки радиста диктор хорошо поставленным голосом...

– Да что он себе там позволяет, – взорвался Михаил Михайлович, глядя на будку радиста.

– ...он позволяет своим укротителям кататься на нем верхом и чистить ему зубы специальной щеткой.

– Выключите кто-нибудь радио, – заорал директор,

– Будка закрыта, радист еще не пришел, – выкрикнул уже с яруса Крячиков. – Что делать?

– Тушкин где? – рявкнул Михаил Михайлович, багровея. – Где завтраппой?

Из последнего ряда что-то живое стремительно переместилось к сцене.

– Я здесь, Михал Михалыч.

– Делайте что-нибудь!

Живое обмерло и исчезло.

– Кто это? – спросил Троицкий у рыжего артиста.

– Как, вы еще не удостоились? Пора. Это заведующий труппой, наш Арик Аборигенович.

– А-а, я уже слышал про него.

– Только слышали? Скоро увидите в лицо, – тихо, сквозь зубы, вытолкнул из себя рыжий артист.

– Михал Михалыч, – суетился на ярусе Крячиков, – я в окно попробую.

– Хоть в пасть киту-нарвалу полезет, – комментировал Фима Куртизаев. – Ему квартиру обещают.

Крячиков, взобравшись на спинку кресла, схватился за створку окна.

– Здесь покрашено, – крикнул он, балансируя на округлой спинке.

– Дайте ему газеты, – посоветовал рыжий актер, – чтобы не замарался.

Кто-то отговаривал Крячикова лезть в окно. Куртизаев советовал ему, как это сделать лучше, кто-то, уже не стесняясь, смеялся. Директор оцепенело смотрел наверх и беззвучно шевелил губами. Он, видно, собирался о чем-то сказать, но в последний момент раздумал.

– Пусть лезет, лезь! – ревел из зала Рустам. – О, дайте, да-айте мне свободу!..

О *главном* забыли. Тот молча стоял у сцены, рядом с директором, склонив набок голову, и то закручивал, то раскручивал колпачок авторучки.

Наконец постелили газеты. Тушкин, ворвавшийся в ту же минуту на ярус, оттолкнул Крячикова и сам влез в окно.

– Обошел, дьявол, – всплеснул руками дядя Петя.

– Смотри, осторожнее, у тебя же ишиас, – кричал ему Рустам.

Радио замолкло.

– Товарищи, – облегченно вздохнул директор, – Игорь Станиславович...

– Вам кто позволил влезть ко мне в цех! – донесся из радиобудки визгливый голос радиста.

– Товарищи, – взмолился директор, – прекратите это...

– Чтобы это было в последний раз, – высунувшись из окошка в зал, кричал радист, – у меня тут материальные ценности, вы меня слышите?..

– Товарищи, – выдержав паузу, повторил директор, – Игорь Станиславович что-то хотел нам сказать... Вы будете говорить, Игорь Станиславович? – спросил он с опаской, безнадежно упавшим голосом, уже не в состоянии вернуться к тому торжественному тону, с которого начал представление *главного*.

– Нет, – спокойно ответил Уфимцев, – давайте меньше разговаривать, особенно на репетициях – от души нам этого желаю... А с труппой я познакомился, Игнатий Львович... вот в такой непринужденной обстановке.

И он ушел в сопровождении директора.

– Минутку внимания, – громко крикнул с яруса Арик Аборигенович. – Игорь Станиславович всех просил, по мере освобождения от репетиции, подходить к нему в кабинет для беседы.

– Ну, начинается, – проворчал рыжий артист.

Остальные никак не отреагировали на приглашение *главного*. Только долговязый старик, дядя Петя, потрепав пальцами бровь, чуть заикаясь, сказал:

– В-вот эт-то я па-анимаю... ч-человеческий п-под-ход, – и энергично рассек ладонью воздух.

– Все слышали? – начальственно оглядел артистов Арик Аборигенович, – появившись в партере, измазанный в краске, с липкими руками.

– Да слышали, слышали, – отмахнулся от него Рустам, – ты лучше скажи, где пропал? Что это тебя видно не было?

– Болел, – коротко отрезал Тушкин, и исчез.

Когда началась репетиция, Троицкий заметил в глубине зала незнакомую женщину в красных очках, которая что-то помечала у себя в блокноте.

– Сеня, – дернул он за рукав Вольхина, – а это, кто там?

Вольхин посмотрел в зал, заслоняя ладонью от света прожекторов.

– Не знаю. Первый раз вижу.

– Что? – обернулся Крячиков, пока Михаил Михайлович что-то втолковывал Артемьевой, – это? Жена *главного*, Ольга Поликарповна.

Он успел всё уже выведать об Уфимцеве.

– Я ему прямо скажу, – делился он с Троицким, – какой тут, к черту, творческий процесс, квартиры нет. Жена поедом ест. Я, вместо роли, её тексты на репетициях шпарю.

– А что это она вписывает в блокнот?

Рыжий актер, который внимательно прислушивался их разговору, скосил глаза в зал на жену *главного*, и не без ехидства предположил:

– Мизансцены записывает.

– Зачем?

– Играть, наверное, собирается.

– А что ей у нас играть?

– Героиню, – с недоумением уставился «рыжий» на Троицкого.

– А куда же Галю? – допытывался Троицкий.

– Туда же, куда и вас.

– Она же... – Троицкий кивнул в зал, – старая.

– Как вам повезло, что она вас не слышит, – подавил усмешку рыжий актер. – У жены *главного* режиссера нет возраста, запомните это на всю жизнь.

– Послушайте... э-э-э... вы... – промычал Книга

– Артемьева, – подсказала Михаилу Михайловичу помощница режиссера.

– Да-да... какой у вас здесь текст? Ну, прочитайте, – и, не дав ей закончить, развел руками, – это же совсем не то. Что вы нам тут играете?

И он стал ей снова что-то раздраженно объяснять.

– Я же так и делала, Михал Михалыч, а вы мне сказали – не надо.

– Плохо, значит, делали.

– Вчера вам всё нравилось.

– Вы будете со мной спорить?

– Значит, я тупая, Михал Михалыч, давайте еще раз...

– Инна, – окликнул он Ланскую, – чем вы заняты? Ну, пожалуйста, давайте.

Инна тотчас же сунула помаду и зеркальце в сумку, и с миной примерной ученицы на лице посмотрела в сторону Михаила Михайловича. На губах у нее дрожала улыбка.

– Не девочка, а всё в невинность играет, – услышал Троицкий глухое ворчание «рыжего».

Эта вскользь брошенная Шагаевым фраза переключила внимание Троицкого с Артемьевой на Инну. Та сидела нога на ногу, упираясь в пол каблучком, и, едва сдерживая улыбку, покусывала блестящие темной помадой губы.

– Нет! Всё! Стойте! Вы... меня не понимаете. Это я, наверное, тупой? – вдруг громко, на весь зал, заявил Михаил Михайлович, остановив репетицию.

– Понимаю я, – убежденно настаивала Артемьева, начиная всё заново.

– Нет, не понимаете, – демонстративно прервал её Михаил Михайлович.

– Понимаю, – в исступлении кричала ему со сцены Артемьева.

И все повторялось сначала.

– Молодежь! – пыхтел Михаил Михайлович. – Плохо, плохо обучены. Не можете! Рано вам такие роли играть.

Троицкий тут же впился в него глазами, но Михаилу Михайловичу было не до него. Теряя самообладание, он что-то тщетно вдалбливал мрачной, оцепеневшей Артемьевой.

– Я так и делаю! – отчаянно защищалась она.

– Ни черта вы не делаете!

– Как же не делаю, Михал Михалыч?! – орала Артемьева, чуть не плача.

– Перерыв, – не дослушав её, объявил Книга и покинул зал.

– Пойдем чаю выпьем, – предложил Вольхин.

– Нет, я к *главному*.

Троицкий спрыгнул со сцены и бросился через зрительный зал к выходу. Краем глаза он заметил, как Инна поднялась со стула, пропуская жену *главного*, которая тоже встала, собравшись уходить, и Троицкий, заглядевшись на Инну, столкнулся с Ольгой Поликарповной в дверях. Она недружелюбно отодвинула его и, ни слова не говоря, прошла мимо. Но этого оказалось достаточно, чтобы увидеть вблизи её лицо, большие серые немигающие глаза.

– И ч-ч-что это *главные* т-таких дылд выбирают, – шепнул сочувственно дядя Петя, – ишь, пава какая...

– Хозяйка пошла, – уважительно произнес Рустам.

– Оля! – раздался в фойе радостный вскрик Юрия Александровича.

Из полутьмы зала Троицкого окликнула Артемьева, делая ему умоляющие знаки, чтобы он не уходил.

– Помоги мне, – схватив его за руки, заглядывала она ему в глаза. – Ты один мне можешь помочь... Мой муж... ну, ты помнишь, когда он приехал, и ты ночевал в моей комнате... Ну, объясни ты ему, что... в общем, что у нас тогда ничего не было, о чем я очень жалею, – вдруг обдала она его тлевающим под спудом жаром.

– Разве он не видел, что я спал один?

– А он говорит, что я услышала его шаги и перебежала к Паше.

– Через стенку?

– Ну, я прошу тебя, что тебе стоит. Это же... Я боюсь его.

– Не буду я с ним разговаривать.

– Нет, будешь, – вдруг обозлилась Артемьева, но тут же снова поменяла тон на жалобно-просительный: – Я тебя очень прошу. У меня вся личная жизнь к черту летит. Он потолкался здесь в кулисах, и совсем помешался – бросай ему театр, и всё...

В зал стали возвращаться актеры, и Галя торопливо отсела от него.

Репетиция возобновилась.

Жена *главного* больше не появлялась. Михаил Михайлович демонстративно пропускал сцены, в которых была занята Артемьева.

Зато Инне пришлось поработать вдвойне. Сегодня она была в ударе, всё у нее получалось, замечания Книги схватывались на лету, она была на сцене легкой, непринужденной, что даже Мих-Мих, при всей его придирчивости, только сопел и довольно потирал руки.

Всю репетицию Троицкий любовался Инной, наблюдая, как она слушает, смеется, или тихо сидит в кулисах, пережидая монологи Михаила Михайловича, и жует конфеты, причем так аппетитно, что даже Троицкий, никогда не любивший сладкого, проглатывал слюнки. И вдруг до него дошло: странно, но с самого утра он сегодня неотрывно следует за нею взглядом.

После репетиции Михаил Михайлович отпустил всех, кроме Горского. Его задержали на часок, чтобы помочь войти в спектакль новой актрисе. Этой актрисой была жена *главного*.

Троицкий заторопился, надеясь со второй попытки попасть к Уфимцеву в кабинет, и снова он натолкнулся в дверях на Ольгу Поликарповну.

– Да что это, в самом деле! – раздраженно отшатнулась она и, проходя, локтем ткнула его в бок.

«Ничего себе, – подумал Троицкий, оглядываясь, – ну и ручка».

Из кабинета *главного* вышел Фима Куртизаев. Он улыбался, склонив набок голову.

– Там есть кто? – спросил Троицкий.

– Иди, иди, – дружески подтолкнул его Фима и плутовато подмигнул.

Маленький брюнет с голубыми глазами встретил Троицкого так, будто его-то он и ждал. Уфимцев был несколько скован, сидя в кресле главного режиссера, как бы стеснялся своего положения.

– Одну минуточку, – предупредил он, сняв трубку, и стал куда-то названивать, приветствовать какого-то Иллариона Яковлевича, передал привет из министерства, обещал обязательно побывать у него.

– Значит, вы только что из Москвы, это хорошо, – одобрительно кивнул он, положив на стол руки и сплетя пальцы. Взгляд у него был томный, мягкий, очень смущенный, в то время как тёмные вьющиеся волосы нахально блестели. – Я тоже закончил московский вуз. Вернее, саратовский филиал школы-студии МХАТ. На экзамен к нам приезжала сама Тарасова, Алла Константиновна. Как мы волновались! Учиться у таких мастеров и попасть сюда...

Он задумался, потрескивая суставами пальцев, и вдруг улыбнулся.

– Как вы находите Михал Михалыча? Не очень старомоден?

– Я не понимаю... – начал было Троицкий.

– Да всё вы понимаете. Все вы всё понимаете. Не может он уже ничего. Дал я ему в спектакль своих актеров, чтобы спасти премьеру от провала, но это мера половинчатая... Вас как зовут?

– Сергей.

– Ну, какой вы Сергей, вы взрослый, самостоятельный человек, творческая единица. Ваше отчество?

– Викторович.

– Вот я и говорю, Сергей Викторович, нельзя нам с вами учиться у Михал Михалыча. Ничего он не сможет нам дать после Аллы Константиновны и Пал Михалыча. Это ясно. Но нам с вами необходимо взаимопонимание. Надо стать единомышленниками. Вот, что мы можем ему противопоставить – коллектив единомышленников. Мы с вами должны иметь для этого, да-да, ясную творческую позицию. Например, как мы с вами смотрим на современное искусство? На какие общественные процессы мы, объединившись, в состоянии повлиять? Кто герой нашего времени? Удивительно, знаете, что там, где я работал, об *этом* никто не хотел думать. Не знаю, как можно ставить спектакли, не разобравшись в существе этих вопросов? Вообще, доложу я вам, я наблюдаю в театре какую-то странную апатию, особенно среди молодежи. Обязательно об этом скажу. Какая-то безынициативность во всём, даже в их желаниях, которых, по существу, и нет. Вы это заметили? А спрашивается: чего, собственно, нельзя? Всё можно, в пределах разумного, не так ли? Я, между нами, очень бы хотел, Сергей Викторович, чтобы именно вы взяли на себя инициативу и немного всколыхнули нашу молодежь. Вы только что из Москвы...

– Я как раз собирался к вам... Тут родилась идея... Я говорю о самостоятельном спектакле...

– Очень хорошо. Умничка вы. Репетируйте, я поддержу.

– Значит, нам можно...

– Конечно, и не только можно – нужно, и смелей. Вас ждет впереди много интересной работы. Это я обещаю. В этом сезоне... или, может быть, в следующем буду ставить «Чайку». А пока я прошу вас, Сергей Викторович, не вступайте в конфликт с Михал Михалычем. Нам надо выпустить спектакль и открыться. Помогите мне, сыграйте этого... ну, вы знаете, о ком я говорю, а потом мы серьезно займемся нашими делами.

Последние слова он проговорил скороговоркой.

– Ну, я рад, что мы с вами познакомились, – Уфимцев поднялся с кресла, – надеюсь, мы найдем общий язык, и обязательно будем единомышленниками...

Уже в коридоре Троицкий поймал себя на том, что он улыбается, и не может удержаться от распирающей его изнутри улыбки, как это было с Фимой, которого он встретил накануне у кабинета *главного*.

XII

Выйдя из театра, Троицкий почувствовал, что голоден. Впереди маячила знакомая фигура Вольхина. Не спеша, шел он к остановке трамвая.

– Ты домой? – догнал его Троицкий.

Тот глянул исподлобья и промолчал.

– Может, перекусим где-нибудь?

– В парке есть летнее кафе, – предложил Вольхин.

Повернули к главному входу в парк. Чугунные ворота были настежь раскрыты.

– Не поймаешь, не поймаешь, – два малыша в теплых куртках дразнили дворничиху, сметавшую в кучки листву.

– А у тебя парень большой? – спросил Троицкий.

Они уже брели пустынной аллеей к открытой веранде кафе.

– Такой же, примерно, как эти, – буркнул Вольхин. – Парень у меня... ничего. Она... Войдешь в квартиру, и прямо с порога ла-ла-ла, ла-ла-ла. От её голоса у меня даже зубы болят.

– А как это тебя угораздило?

– Обыкновенно. Жила со мной по соседству, на меня ноль внимания. Вдруг что-то в ней замкнуло. Как ни приеду к матери, она у нас трётся – то одно ей вдруг понадобится, то другое. Поверь, я никогда о ней не думал, ходит и ходит. Мне вон Инна, может, нравится, но я ж не олух, чтоб в нее влюбиться.

– Ну и что?

– А то... Пока я разбирался в себе, поздно стало...

– Что значит поздно?

– Ладно. В общем, забеременела она, и всё. Ты мне лучше скажи, был у *главного*?

– Был.

И Троицкий пересказал свой разговор с Уфимцевым.

– В одном он, конечно, прав: безынициативность – самый страшный наш порок.

– Вы с ним так решили?

– Ладно, Сеня, хватит.

Они поднялись на круглую веранду, купили в буфете сыр, котлеты, по бутылке лимонада.

– Как здесь хорошо, – вздохнул Троицкий, осматриваясь.

Прозрачно-желтые листья клена вместе с огненно-румяными листьями осин застлали собой всё пространство. Кучи жухлой листвы громоздились у кафе, вдоль аллеи, около беседок.

– А что, он действительно сказал, что будет ставить «Чайку»? Это было бы здорово, – вдруг оживился Сеня, – хотя, что мне там играть?

– Как это что, *Треплева*.

– Я? Ты – еще понимаю, можешь.

– Почему? – возмутился Троицкий. – Ну, конечно, по вашим понятиям, ты – это *Медведенко*.

– И по вашим и по нашим – *Медведенко*. И когда это ещё будет, – махнул безнадежно Вольхин.

– А зачем нам ждать. Мы можем взять пьесу и начинать репетировать. Только *Нину* нужно найти.

– Артемьева тебе не подойдет?

– Это здорово, я как-то не подумал.

– Да брось ты это всё. Пустая трата времени. Начнешь репетировать, не будешь спать по ночам, придумывая сцены, а они всё равно закроют...

– Кто?

– ...да еще и ноги о тебя вытрут в междусобойчике. А потом услышишь: «Иждивенцы, не работают дома, ждут подачки из зала», а попробуй, предложи им своё. Как же, очень им это нужно. Дома себе черт-те что напридумают, всё за тебя сыграют – очень им интересны твои фантазии. Выйдет спектакль, а от тебя там – ничего, всё они – от и до. Иногда такое чувство, будто гвоздями тебя вколачивают в сцену.

– *Сорина* может играть Пал Сергеич, – перебил Троицкий.

– *Тригорина* – Шагаев, – подсказал Вольхин.

– И начнем репетировать.

Вольхин мрачно покачал головой.

– Ничего из этого не выйдет.

– Да почему, елки-палки? Прав *главный* – ничего не хотим, или боимся, или ленивы, или что там еще нам мешает собраться и репетировать? Это же наша жизнь!

– *Аркадину* могла бы хорошо сыграть Инна, – вздохнул Вольхин.

– А знаешь, ты прав. В ней и впрямь есть что-то от чеховской *Аркадиной*. Провинциальная примадонна, не старая, но уже и не молодая. Любит себя и театр, потому не замужем. Говорят, у неё есть кто-то, кем она манипулирует, из семьи хочет увести, но это только доказывает всё то, о чем я уже сказал. Ей и этого мало, она должна блистать – ей нужны молодые любовники, вроде меня. Ты понял теперь – «постирать рубашки», а? Мне кажется, Инна только притворяется такой отзывчивой, искренней, добропорядочной, бескорыстной. Она же хорошая актриса? А из добропорядочных хороших актрис не бывает. Значит, у неё есть «ночная жизнь», которой она кормится на сцене. Помнишь, учительницу в рассказе Куприна, название забыл, днем она учила детей благопристойному поведению, а ночью переодевалась, накладывала толстый слой макияжа, и шла на панель... за настоящей жизнью...

«Что это с ним?» – ещё успел, подумать Троицкий, как что-то рассекло перед ним воздух, потемнело в глазах, голова загудела, как церковный колокол.

– Это я так, случайно, не утерпел, извини. Видишь, по лицу я не попал. Ты не бойся, синяка не будет, – причитал над ним Вольхин, оправдываясь, похлопывая Троицкого по щеке, будто старался смахнуть с него удар.

– Отстань, убери руки. Дурак ты, Сеня. Только из уважения к твоему возрасту...

Звон в ушах ослабел, колокол утих, мгла рассеялась. Сеня, виновато, опустившись на стул, подергивал плечом, будто сгонял назойливую муху.

– Извини, когда касается Инны, я... Её тут не любят, и не понимают. Другая бы с её талантом давно уже всё имела, стоит поддакнуть вовремя, или смолчать. Но это не про неё. Она вступиться сразу, если кого-то травят или... Ей завидуют, кто-то сочувствует, ну а большинство зубоскалит на её счет. Не нравится им, что она, как кошка, ходит сама по себе... И запомни: Инна вправду бескорыстна – и в отношениях с теми, кто её так добивался. Кажется, слава богу, она с ним порвала, наконец. А что касается тебя... решила, наверное, что ты здесь один, никого не знаешь, живешь в гостинице, в чужом городе... Она с тобой, как с человеком, а ты, говно, сразу... Не собирай по примеркам дохлых сплетен.

– Сказал, что слышал. Извини, если она тебе так нравится, что... я не хотел. Думаю, она не будет против, если ты... Ладно, молчу. Хочешь, врежь мне ещё, может легче станет – нам обоим... А в голове всё гудит.

– Прости, если б ты её знал... – и он замолчал, отвернувшись.

Стемнело. Мелко накрапывал дождик. С веранды было видно, как сквозь арочные ворота светилась в конце аллеи улица. Уходить не хотелось.

– У меня мать очень больна, – вдруг сказал Сеня негромко, – если она умрет, никого у меня не останется. Как подумаешь, такая огромная земля, столько вокруг народу, а у тебя никого, ни одного родного человека – что ты есть, что тебя нет.

– Не трави себе душу, и не хорони себя. Завтра же беру пьесу, и начинаем.

– Хочу пожить с матерью. Она единственная, кто меня понимает. А не могу.

– Почему?

– Не пускает... театр, жена. И ко мне ей нельзя. Ладно, пошли.

Дождь усилился. Плащи быстро намокли, с кепок скатывались за шиворот холодные капли. Ветер охлаждал шею и поддувал в брючины. Но они не сели в трамвай, так и шли под дождем до дома Вольхина. И еще долго потом говорили в подъезде, пока дождь не прекратился.

Возвращался Троицкий безлюдными темными улицами. «Как думаешь, – спрашивал он себя, – где сейчас Алёна? Что она делает?» Ему так захотелось её увидеть, что он ускорил шаг, будто она была где-то тут рядом, за углом.

– Беги, не беги, не добежишь, – сказал он вслух. – Вот и начинается «нельзя»: *нельзя* увидеть, *нельзя* уехать, *нельзя* быть с ней, а потом уже ничего не вернёшь. И никто не в силах помочь ни себе, ни другим. Если только забыть о себе (невозможно!), и стать чьим-то двойником. Но разве все мы не двойники? – размышлял он, свернув за угол, глядя себе под ноги. – Разве не посвящаем мы себя – себе, и что? Ходят, бродят по свету одинокие двойники, а вокруг... о чем говорил Сеня – «земля и люди, и больше ничего».

Гулко прогрохотал по соседней улице трамвай, огласив район раскатистым эхом. Троицкий поднял голову и увидел круглое здание с высокими узкими окнами и черной доской у входа, на которой едва можно было разобрать в темноте «филармония». В доме напротив жила Инна.

«Как я тут оказался?» – удивился он, не понимая, почему повернул сюда, а не к гостинице.

Вдруг что-то сжалось в груди, стало душно, страшно: нигде его не ждут, и идти ему некуда, и эти шаги за спиной нагоняют не его и не к нему спешат. Он остановился, и всё не уходило от её дома; слушал, как трещали под ветром мокрые ветки, и испытывал странное, хмельное чувство, будто только что проводил любимую.

Глава шестая

ХІІІ

В день премьеры Троицкий встал рано. За окном густо валил снег. Он падал, не затихая, крупными хлопьями, и так было сумрачно, что пришлось зажечь в номере свет.

Из гостиницы вышли вместе с соседом. Тот побежал на трамвай, Троицкий повернул к театру, спускаясь по скользким ступенькам. Он не узнавал привычной дороги – так всё переменилось за ночь. Бледно-зеленая трава нежно просвечивала сквозь прозрачную белизну первого снега. Тонкий снежный покров оттенял черные безлистые стволы лип и извилистую линию рва с желтой землей, вывороченной по обе стороны.

У театра снег уже таял, и прохожие превратили его в темную грязную жижу.

В проходной бросилась в глаза простоволосая женщина в расстегнутом пальто со спущенным на плечи платком. Она сидела на кушетке, держа на коленях ребенка лет пяти. Внешне она напомнила ему актрису Марецкую: «И вот сижу, или нет, стою я перед вами простая, такая-сякая, битая – живучая!»

– Троицкий, задержись, – остановил его Тушкин, оглядев проходную. – А это к кому? – ткнул он пальцем в женщину.

– Ланскую ожидают, – объяснила дежурная, и, поманив, шепнула: – Супруга Шагаева

– Ага. Ланской еще нет. Отлично. Явочный лист я заберу. Распишется у директора.

Троицкого поселили в гримерной около сцены. Комната была темной, узкой, с четырьмя столиками. Сидело там трое стариков: дядя Петя, высокий, вечно теребивший жидкие брови; Рустам, рассматривавший в зеркало остатки зубов, и Павел Сергеевич.

Заметив, что Троицкий потянул коробку с гримом, Рустам предупредил:

– Ты не очень-то мазюкайся, не продавай нас. А то мы с товарищами работаем, как говорят в цирке, без сетки... то есть без грима.

Он засмеялся, довольный шуткой.

– А куда ему еще мазюкаться, – заикаясь, залепетал фальцетом дядя Петя, – он и так, будто только от-т-г... Тициана.

Павел Сергеевич был не в духе, и промолчал. Казалось, он был занят только одним: как можно тщательней закрасить свою седину жженой пробкой.

Троицкий оглядел себя в зеркало. «Лицо как лицо, – подумал он, – фу! розовый порошенок», – и провел пальцем по щеке, будто хотел стереть с раскрасневшейся кожи следы мелких веснушек, пригладил упавшую на лоб русую прядь, прищурил глаза. «Усы бы мне отпустить?» – вспомнил он совет Павла Сергеевича.

Дверь приоткрылась, в гримерной появился завтруппой

– Приветствуем начальство, – с подхалимской улыбкой поздоровался за руку Рустам, низко кланяясь, будто что-то обронил на пол.

– Что-что-что, что такое, – тут же заинтересовался Арик Аборигенович, не выпуская его руки, и клонясь вместе с ним.

– Ничего.

– Ничего, – согласился завтруппой.

Троицкий вопросительно взглянул на дядю Петю.

– Что непонятного, – хмыкнув, шепнул тот на ухо, – завтруппой обнюхивает артиста перед премьерой – нет ли запаха спиртного, а тот уклоняется. Собачья должность.

– Так... здесь все на месте? – поинтересовался завтруппой. – Отлично. А вот Ланской пока нет, а там, на проходной, её ждет супруга нашего «героя-любownika» с малолетним дитём. Авось не зарежет. Ладно, – и он невзначай заглянул каждому под стол.

– Да нет у нас, Арик, – развел руками Рустам, и показал пальцем на стенку, мол, там поищи.

– Ну, я пошел.

– Да... Арик!

– Что?

Завтруппой резко повернул голову и с готовностью потянулся к лицу Рустама, который, оголяя пальцем розовые десны, предупредил:

– Мне в больницу надо, зубы лечить. Я премьеру отыграю, и недельки на три выйду из строя. Ищи замену.

– У нас двадцать бюллетеней, – радостно сообщил завтруппой.

– Значит, будет двадцать первый.

– Ну, бюллетень каждый может взять...

– Ты что, не видишь, я говорить не могу?

– Нет, не вижу. Открытие сезона, двадцать бюллетеней. Играть некому. Вот Пал Сергеича пришлось просить.

– Меня просить не надо, – хмуро ответил тот.

– Пал Сергеич, – развел руками завтруппой, – мы знаем, что вы человек безотказный, а где теперь таких возьмешь?

– Поэтому и выперли меня на пенсию.

– Ну, я пойду, – засуетился Тушкин. – Приезжают сегодня из Москвы. Сам автор... – И он исчез за дверью.

– Ты бы лучше теплоту в декорационном починил, эй, народный контроль, замерзаем на сцене, – кричал ему вдогонку Рустам.

Остальные не шелохнулись, будто никто и не заходил.

– Иуда, – спокойно сказал Рустам. – Вы помните как он пил? А теперь ходит по театру, вынюхивает. Вот тебе, Пал Сергеич, пример, как вредно бросать пить гнусным типам. Пока пил, был человеком, а как пить бросил... Его чуть из театра за пьянку не выгнали. Так не выгнали же. Теперь такой гнидой стал. Тоска, делать нечего, душа просит, а он ей шиш. На собраниях так и лезет выступить, и такое про всех несёт. А всё началось с народного контроля. Не понравилось, видишь ли, ему, пьянице, как народный контроль работает. И нашелся какой-то умник, скажи ему: вот ты и берись. Он и взялся, черти бы его от нас взяли. Выпер из театра Ефимыча, какой завтруппой был, душа человек. Придрался, что у него вторая группа инвалидности, мол, со второй группой работать запрещено. А с гнусным характером – не запрещено?

– Стал нужным человеком, – вздохнул Павел Сергеевич, – его теперь директор поддерживает, ракалию.

– Вот и до Пал Сергеича добрался...

– К-к-копит, говорят, н-на машину, – вдруг выкрикнул дядя Петя, заставив всех вздрогнуть.

– Слышал, – оживился Рустам, и оглянулся, – говорят, что все побочные доходы, пусть даже рубль тридцать восемь копеек, кладет на сберкнижку. В каждом городе, куда заезжает на неделю-две, заводит сберкнижку.

– Ч-ч-черта с два кто-нибудь на его доходы купит машину, а он к-купит – есть, пить не будет, а к-купит.

– Бедняжка Инна, – вырвалось у Павла Сергеевича, – изведут паразиты.

По трансляции хриплый мужской голос помрежа пригласил всех занятых в прогоне на сцену.

– А почему, – удивился Троицкий, – не Клара Степановна?

– Вот у нее двадцатый бюллетень и есть, – поднялся Рустам, – в больнице лежит, а то бы и парализованная здесь ползала.

В театре опять не топили. Актеры, усевшись, где попало на полутемной сцене, ежились, кутаясь в принесенные из дома шали, пледы или пальто.

В зале появились Михаил Михайлович с Уфимцевым. Они долго о чем-то разговаривали, стоя в дверях.

– Почему не начинаем? – вдруг крикнул, побагровев, Книга, – где Ланская?

– Одевается. Её задержали на проходной, – пролепетал Тушкин

– Почему в театре посторонние? Прекратите нервировать актеров! – вдруг заорал Книга, глядя на Тушкина. – Здесь не дом свиданий и не адвокатское бюро. Дайте свет, наконец!

– Свет на сцену, – рявкнул в микрофон помощник режиссера. – Гена, Гена, ты готов?

– Готов, – послышался сонный голос радиста.

– Все лишние... уйдите со сцены, начинаем прогон, – нервничал помреж. Плохо зная партитуру спектакля, он был готов прибить каждого, кто ему сейчас мешает.

Свет в зале погас, зазвучала музыка, врубили прожектора, и спектакль покатился, картина за картиной. Сонные артисты зевали в кулак, не обращая внимание на утробные выкрики Михаила Михайловича, который был недовольный долгими перестановками, плохим освещением, недостающим реквизитом.

Ольга Поликарповна работала спокойно, не затрачиваясь и не раздражаясь на частые остановки в прогоне. Артемьева, которую вот уже неделю не подпускали к сцене, сидела в зрительном зале на самом видном месте и демонстративно вязала.

– Галка молодец, – констатировала Инна.

– Молодец-то она молодец, а играть у него больше нн-е будет, – обронил дядя Петя.

Ланская не уходила со сцены, отсиживаясь в кулисах, или бродила за живописным задником, подсвеченным софитами, еще раз проговаривая текст.

«Сначала та бросилась с ребенком ей в ноги, – услышал Троицкий шепот костюмерши, – а потом чуть в волосы не вцепилась. И ту, и другую валерьянкой отпаивали. „Скорую“ хотели вызвать».

Роль была маленькой, и от нечего делать Троицкий слонялся за кулисами, подкарауливая Ланскую, чтобы, столкнувшись с ней в узком проходе. Она первой уступала ему дорогу, и равнодушно проходила мимо. Ни в лице, ни тем более в её поведении он не заметил ничего особенного, что говорило бы о её недавнем скандале с женой Шагаева.

Главный режиссер просидел всю репетицию молча, ни во что не вмешиваясь. В перерыве актеры спустились в зал. Книга стал делать замечания, заговорил и *главный*. Он похвалил всех, кроме Крячикова, который, по его мнению, слишком вяло провел последнюю сцену.

– Понимаете, – жестами пытался объяснить он Крячикову его ошибку, – весь спектакль он аккумулирует энергию, близкую к потенциальной; хочется, знаете ли, здесь протуберанца против этого темного пятна.

– Просто Барух Спиноза, – не выдержал Шагаев.

Михаил Михайлович энергично потер руки и сказал:

– Ну, а теперь всё точно так же, только через борьбу.

– Не даст он тебе квартиры, – шепнул Рустам скисшему Крячикову, – у тебя протуберанца маловато.

Как на эшафот взошел Крячиков на сцену, ослепший от прилива чувств, и так запольхал в финальном монологе, что даже побагровел от усердия, вложив всю свою тоску по ускользавшей из рук квартире.

Последними выстраивали поклоны. По шаткому дощатому помосту, как бы олицетворявшему собой «дорогу к солнцу», медленно шли на зрителя к авансцене главные герои: Крячков, Ольга Поликарповна и Горский. Предполагалось, что весь этот длинный путь они пройдут под несмолкаемый гром аплодисментов.

- Этим ребяташкам, – хмыкнул дядя Петя, – всем вместе не меньше ста пятидесяти.
- Не будем уточнять, кому сколько, – заметил Шагаев, – среди них есть женщина.

XIV

На премьере Троицкий стоял весь спектакль за кулисами. Он как замороженный смотрел на знакомых и одновременно таких непохожих на себя артистов. Особенно неузнаваемой ему казалась Ланская. Ее язвительность, жесткость, даже жестокость, были так убедительны, органичны и уместны для её роли, что, если не знать Инны, можно было бы подумать, что она такая и есть. Но были секунды, когда Инна вдруг застывала в мучительном раздумье, забыв об окружающих, погруженная в себя, и вновь становилась той Инной, которую он уже знал. Это не было прострацией, она по-прежнему всё видела и слышала; каждое её слово, медленно произносимое, всё так же точно находило партнеров, но теперь уже исподволь, через паузу, будто отягощенное её прошлым, вдруг ставшим зримым и понятным каждому. В эти мгновения, глядя на Инну, Троицкий узнавал о ней такое, что никогда бы не смог этого узнать ни от других, ни от неё самой. Даже неловко делалось от этой вдруг приоткрывшейся всем чужой, очень личной тайны.

В промежутках между сценами Инна, как и на «генеральной», не уходила к себе в гримерную. Троицкий видел, как она, нервничая, бродила в полутьме за кулисами, и понимал, каких душевных усилий стоила ей в спектакле эта видимая легкость. Свою главную сцену, где она узнает об измене мужа, Инна сыграла совсем не так, как репетировала, и как требовал от неё Михаил Михайлович. Вместо скандала, криков, истерики (на репетициях Инна фурией носилась по сцене) она стояла, не шелохнувшись. Выслушав признание мужа, подошла к шкафу, и стала медленно и тщательно укладывать его вещи; глаза её были полны слёз, они текли по лицу, она их смахивала, как отгоняют надоедливую муху, машинально, коротким жестом. Шагаев, игравший её мужа, смотрел в пол, не решаясь поднять головы. Зал притих, наступила странная, напряженная минута. Все ждали, что будет дальше, ждали, затаив дыхание, с таким чувством, будто сейчас перед ними взаправду решалась чья-то судьба.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.